

*Настоящее издание содержит воспоминания
художницы Н. О. Мунц и включает в себя
три части, расположенные в соответствии
с хронологией описываемых событий,
а не в порядке их написания автором*



Н. О. Мунц

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ЛЕНИНГРАДА
В МОСКВУ
С ПЕРЕСАДКАМИ

Москва

Оглавление

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК Н. О. МУНЦ.....	7
ЛУГОВОЕ	11
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 50, КВ. 9	29
ГЛАВА ПЕРВАЯ.....	31
ГЛАВА ВТОРАЯ	41
ГЛАВА ТЕТЬЯ	45
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ	63
ГЛАВА ПЯТАЯ	69
ГЛАВА ШЕСТАЯ	79
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.....	93
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.....	115

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА В МОСКВУ С ПЕРЕСАДКАМИ	123
I. ОТЪЕЗД	125
II. ТЕПЛУШКА	129
III. ПЛАТОНОВКА	135
IV. НОВИКОВО	139
V. ГРУЗОВИК. БАЛЬЦЕР	143
VI. ОТЪЕЗД В БУИНСК	147
VII. ЗИМА В БУИНСКЕ	151
VIII. КАЗАНЬ	157
IX. ВОЛОДЯ	161
X. МАЛЯРИЯ	165
XI. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО	167
О НАТАЛЬЕ ОСКАРОВНЕ МУНЦ	171



Биографический очерк Н. О. Мунц

Наталья Оскаровна родилась в Петербурге 15 ноября 1907 года, в семье архитектора, профессора Академии художеств Оскара Рудольфовича Мунца и его жены Магдалины Львовны (дочери знаменитого одесского врача и владельца гидротерапевтической лечебницы Л. М. Шорштейна).

Так же, как и старший брат Володя (будущий архитектор В. О. Мунц), Тася (так называли Наталью Оскаровну домашние) закончила общую трудовую среднюю школу № 217 — до революции знаменитую гимназию К. Мая.

С 1924 по 1928-й Наталья Оскаровна училась в Ленинградском художественно-промышленном техникуме при Академии художеств, на отделении книги и плаката (под руководством В. Н. Левинсона).

В эти же годы она сблизилась с соученицами — Марьяной Викторовной Борисовой-Мусатовой и Верой Фёдоровной Матюх, — дружба с которыми (как и с Ираидой Ивановной Фоминой, подружкой детских лет и тоже однокурсницей) прошла через всю жизнь Таси.

Закончив учиться, Наталья Оскаровна сразу начала работать в различных ленинградских издательствах, таких как, например, «Прибой», «Политиздат» и «Писатели». Последнее возглавлял Самуил Миронович Алянский. Создатель теперь уже легендарного издательства «Алконост», друг А. Блока и признанный в книгоиздании авторитет, именно Алянский прозорливо распознал в молодой художнице будущего мастера книги и предложил ей сотрудничество.

Параллельно с издательской деятельностью Наталья Оскаровна много времени и сил отдавала офорту, занимаясь им в мастерской Ленинградского отделения Союза художников (ЛОСХ).

В 1930-е годы в качестве рисовальщика при геологических экспедициях (была тогда такая должность) Наталья Оскаровна много ездила по стране — особенно по Дальнему Востоку и другим территориям, прилегающим к будущему строительству Байкало-Амурской магистрали.

Путевые впечатления находили отражение в многочисленных офортах, экспонировавшихся потом на выставках офортной мастерской 1938–1939 годов.

В 1839-м художница вступила в ЛОСХ.

Война застала Наталью Оскаровну в Ленинграде. Вместе с родителями и маленьким сыном она перенесла осень в осаждённом городе. В начале зимы 1942-го от тягот блокады скончался Оскар Рудольфович Мунц. В апреле того же года, после чудом пережитой зимы Тася с Магдалиной Львовной, трёхлетним сыном Сашей и двенадцатилетней падчерицей Лялей эвакуировались в Буинск. (События тех лет описаны Натальей Оскаровной в ее мемуарах «Путешествие из Ленинграда в Москву с пересадками», созданных в 1974-м.)

С 1944 года Наталья Оскаровна жила в Москве и продолжала работать как книжный оформитель. При её участии вышли следующие книги: «Архитектурные памятники Самарканда» (изд-во Академии архитектуры, 1948), Герберт Уэллс «Избранное» (Гослитиздат, 1956); «Карибские рассказы» Анны Зегерс, «Эквадорские рассказы» и сборник рассказов Альберто Моравиа «Дом, в котором совершено преступление» (в издательстве «Иностранная литература») и многие другие.

Одновременно продолжилось сотрудничество Натальи Оскаровны с С. М. Алянским, к тому времени тоже переехавшим в Москву и состоявшим главным художником Детгиза, считавшегося, по слову современника, «"университетом" для иллюстраторов детской книги». Тогда-то и осуществилась давняя мечта Натальи Оскаровны об иллюстрации, а не только оформлении, книг для детей: «Я люблю делать цветные детские книги, очень люблю обложки и переплёты. Выдумывать обложку интересно. Ведь для всей книги надо найти какой-то один символ, что-то близкое к моему пониманию плаката. <...> Делая цветные книги для маленьких, я даже уделяю большее внимание обложке, возможно, иной раз <...> в ущерб остальному».

В Детгизе тех времён коллегами Натальи Оскаровны были замечательные художники: В. Лебедев, Ю. Васнецов, Н. Тырса, В. Коношевич, Е. Чарушин, В. Ватагин, В. Сутеев, отец и братья Траугот...

С иллюстрациями Натальи Оскаровны в 1957-м вышла книга С. Капутикян «Маша обедает», в 1958-м — «Песенки-байки», в 1964-м — «Как Дед Мороз парад принимал» В.И. Воробьева и многие другие — общим числом около тридцати.

Была среди них и сочиненная самой Натальей Оскаровной книжка «Как кукле Кате сшили платье». (В семейном архиве сохранились рукописи нескольких неизданных книг авторства Натальи Оскаровны.)

«Строгие, стройные композиции и безупречный вкус позволили ей создать прекрасные образцы книжного оформления, изысканные в самом лучшем смысле этого слова. В области детской книги работы Натальи Оскаровны отличаются всегда лаконичным, острым рисунком, что так важно для детского читателя», — писал художник-график Леонид Павлович Зусман.

В течение всей своей жизни Наталья Оскаровна рисовала с натуры зверей, детей, архитектуру, пейзажи и портреты. Из каждой поездки — а их было много: Крым, Кавказ, Прибалтика — она возвращалась с альбомами, полными зарисовок.

Почти каждый год начиная с 1938-го и до конца жизни Наталья Оскаровна участвовала в выставках офортов или книг, включая заграничные — в Лейпциге и Париже.

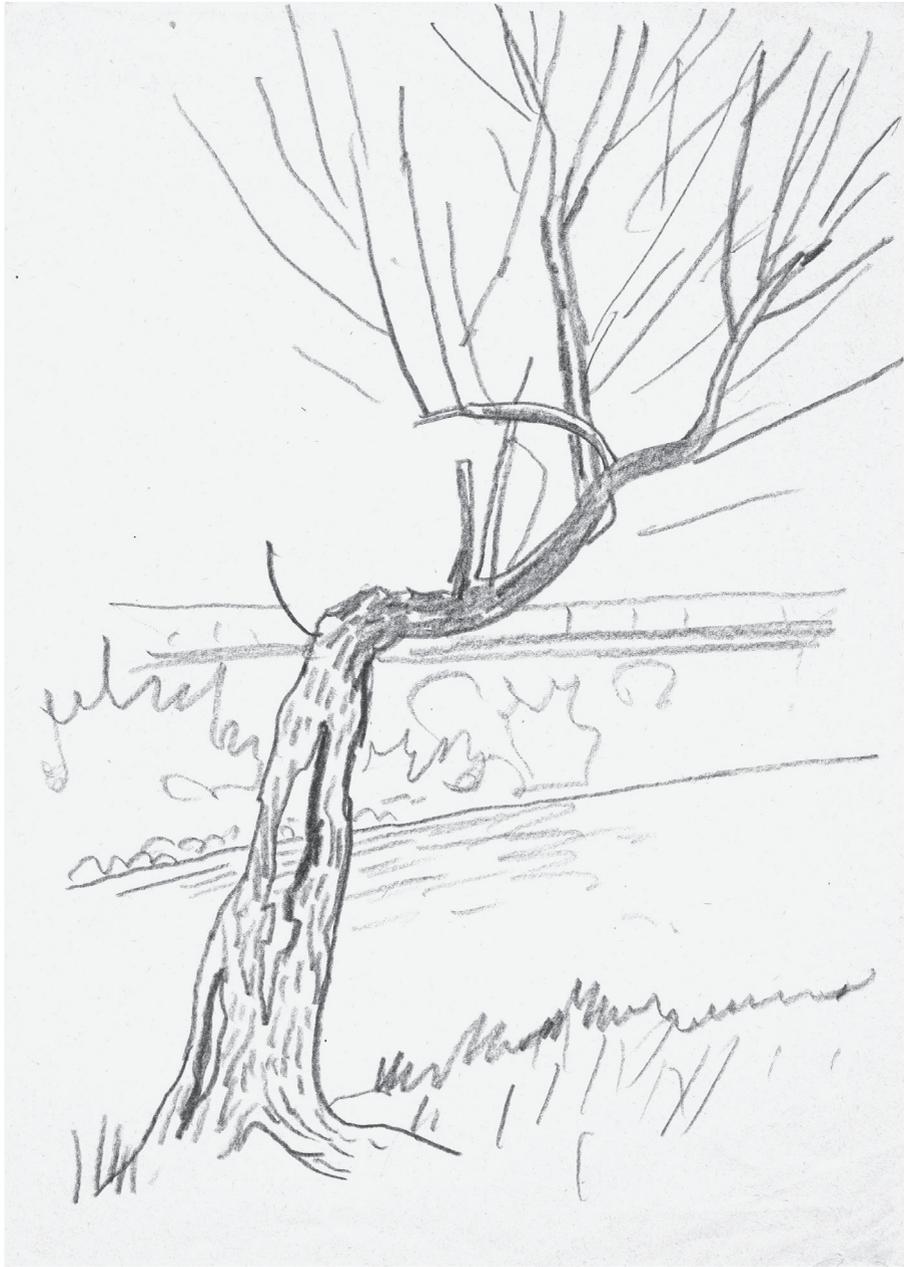
Умерла Наталья Оскаровна Мунц от сердечной недостаточности в Москве в мае 1980 года. Похоронена на Донском кладбище, рядом с братом Владимиром Оскаровичем и матерью Магдалиной Львовной Мунц.

В том же 1980-м в Ленинграде была организована посмертная выставка художницы.

М. Алхазова, А. Я. Олейников



ЛУГОВОЕ



«Дерево»

Когда хочется пить и под руку попадает старая алюминиевая кружка, я пью холодную воду, закрываю глаза, и мне кажется, что я пью из ковша. Губы щекочут сосновые иглы. Я стою в прохладных сенях большого дома в Луговом. Передо мной тёмная бочка воды, всё с теми же иглами. Я забежала в разгар веселья, на минутку. Попью, прицеплю ковш на бочку и побегу дальше.



На родительском собрании в гимназии Екатерина Петровна Добровольская сказала маме: «А не хотите ли вы, Магдалина Львовна, поехать на дачу в моё имение?» — «А где это?» — «На Струги Белая». Накануне мама случайно прочла в газете «Речь» объявление с этим удивительным названием «Струги Белая». Это совпадение предрешило дело. Екатерина Петровна была очень симпатична, именье — далеко под Псковом, и дамы за глаза всё уладили.

И вот три лета — 1916, 1917 и 1918 года — мы провели в Луговом. Я очень благодарна судьбе за эти три лета.



И раньше бывало на дачах хорошо. Была Сиверская, был Петергоф, Перкьярви, Чёрная речка, Дюны. Всюду было славно и весело. Но это были именно дачи с садом, зелёным заборчиком, песочком, качелями. Хорошо ещё, что без стеклянного шара перед балконом на клумбе, как бывало иногда в те времена. А тут, в Луговом, всё было поновому. Забора — никакого. Около дома — мелкий соснячок с вереском, полевыми цветочками и даже грибами.

За домом тянулись плавные луга, переходящие в синие дали. Слева — крутой лесистый склон к Долгому озеру. Противоположный берег был тоже крутой, и поэтому озеро было тенистое. Внизу — покосившаяся купальня, белая облупившаяся лодка и душноватый запах кувшинок.

Во всём имении, кроме большого дома, который никогда не называли усадьбой, а почему-то «мызой», было всего 3–4 дачи, разбросанных далеко друг от друга.

Когда мы впервые приехали со станции и выскочили с Володей из тарантаса, в даче никого не было, а на стеклянной террасе была накрыта скатерть, лежал каравай чёрного хлеба и стоял кувшин парного молока. Так гостеприимно встретило нас Луговое.

В доме, пахнувшем свежим тёсом, было четыре комнаты. Мамина спальня, примечательная тем, что в наличнике одного из окон жило семейство летучих мышей (!). Потом — весёлая детская с окном на луга, маленькая проходная столовая, угловая комната нашей прислуги Саши и кухня — под лестницей на чердак. На чердаке было интересно. Но надо было осторожно перелезть через пыльные балки и пахло горячей от раскалённой крыши пылью.

Все три лета в Луговом были разные.

Это, первое лето, просто навалилось на нас с Володей изобилием природы, простора и безлюдья. Детей кругом не было, мне кажется, что это было, наверное, хорошо. Запомнила бы я так всё, что окружало нас?

Мы исходили с Володей всё кругом. Мы перелезали на все возможные деревья. А когда я ходила в поле одна в белёдые, немного грустные дни без солнца, я сочинила длинную песенку на чьи-то слова из своей детской книжки. Песенка начиналась так:

*Сорви меня. Я цветик белый.
Кругом леса густой травы,
Я, одинокий и несмелый,
Поднять не смею головы.*

Мне нравились эти печальные слова.

Все прежние дачные игры и развлечения: мячи, серсо, качели — тут были ни к чему. Володя затеял вскопать огород. Под его серьёзным руководством мы страшно аккуратно снимали дёрн, укладывая его барьерчиком. Мы ходили по пыльным луговым дорогам с детским ведёрком, деловито собирая конский навоз. И были потом свой салат и своя редиска. Ещё мы вздумали вырастить курицу из цыплёнка, случайно купленного у старичка. Привязали курицу за лапку на ниточку, потом отвязали. Она и не думала убегать; мы были в восторге. Сколько дождевых червяков переносил ей Володя: она наедалась ими до полного изумления и очень хорошо его изображала на лице. Но однажды ночью все проснулись от странных и весьма немелодичных звуков. Ничего не поняли. Только утром Саша объяснила нам, что наша курица — петух и это были его первые рулады.



Ещё весной в городе отец сказал, что вряд ли будет часто приезжать, разве что 2–3 раза за лето. Слишком уж далеко. Но куда там... Всё пленило его: и красота природы (в это лето он снова начал писать акварели), и дом, и купание, и, главное, теннис. С утра в воскресенье, весёлый и живой, он надевал теннисные туфли, и с ракетками под мышкой, не теряя времени, мы все отправлялись на мызу.

Дорога, затемнённая деревьями, шла вверх мимо парка.

На полпути справа стояла старая кирпичная часовня, волнующая моё воображение. Дело в том, что Луговое было куплено Добровольскими не так уж давно и называлось оно раньше Губин клин («Губин»... — кто кого когда погубил?..). Часовня, рассказывали, стояла над чьей-то могилой. Внутри всегда было холодно, как в склепе. Висела маленькая икона, и я сплела веночек на неё из крошечных цветков, не крупнее незабудок, белых звёздочек и др. Мама посмотрела и сказала: «Чехонин». Кругом часовни росла брусника, крупная и сочная, и, хотя Володя пытался испортить мне аппетит, объясняя, отчего она так хороша, я уплетала её, как, впрочем, и он сам.

В теннис играл лучше всех сам Вася Добровольский. Папа делал необыкновенные успехи. Вова тоже. Остальное общество я забыла. Хотя нет, помню мальчика-блондинчика, сказавшего очень мило Володе, что на теннисе надо время от времени потихоньку креститься — очень помогает. Так бы и забыла его, если бы не это. Я в основном носилась за мячами, а если «играла», то держала бог знает как свою ракетку!

Парк тянулся в сторону, начинаясь с парадного большого пруда, обросшего лиловыми высокими цветами, каких раньше мы не встречали. В конце парк переходил в яблоневый сад. Я совсем не знаю, велико ли было имение. Мне никогда никто не показывал его границы, а уж заборов, действительно, я нигде там не помню.

Сам дом совершенно некрасив. Но в комнатах Екатерины Петровны всё было красиво, начиная с неё самой. Она была полная дама, немного ленивая в движениях. Носила дома тёмные капоты с кружевным воротником и туфли на французском каблуке с острыми носами. Руки её были удивительно красивы, карие глаза с очень смуглыми веками выдавали какую-то нерусскую кровь — кажется,

греческую (хотя девичья фамилия её была Кишменская). Она играла на рояле. Пела. Вышивала с большим вкусом. Вещи кругом были старинные. В комнате царил милый беспорядок. На полу лежала, изящно «переливаясь» с боку на бок, дымчатая кошечка Цикада.

Пела Екатерина Петровна много, слегка грассируя. Мне запомнились гейневские «Горные вершины» и романс «Жалобно стонет ветер осенний». Мне достаточно даже про себя напеть эти вещи, и встают перед глазами тёмная вечерняя комната и большой кружевной абажур на керосиновой лампе слева на рояле.

Думаю, что хозяйкой имения Екатерина Петровна была совсем плохой. Уж очень неделовитая была она. Муж её никогда не появлялся ни в имении, ни в городе. Жили они в Петрограде над нами. Был он военным юристом, и Екатерина Петровна была генеральшей. Может быть, родители и знали что-то подробнее, но мне не говорили, а меня в 8–9 лет очень мало беспокоило семейное положение моей любимицы.

За спальней и гостиной Екатерины Петровны была большая двойная комната Васи. Там я бывала редко, мельком. Почтительно поглядывала на его ружья. Снизу, из сада, к окну была приставлена деревянная лестница, интересная тем, что она была солиднее обычных лестниц — перекладины были рубленые, и благодаря этому собачка Дези могла бегать по ней вверх и вниз. Мне очень нравилось, стоя внизу, позвать: «Дези! Дези!». Появлялась голова с острыми ушками, и Дези спускалась ко мне.

Васе было в то первое лето 16 лет, это был тонкий молодой человек с волосами ёжиком, большими серьёзными серыми глазами и ямкой на подбородке. Красивый, теперь мне кажется, что он был похож на молодого Бунина. Был он молчалив и скорее несимпатичен, что не мешало мне считать его пределом очарованья. Учился он в гимназии

плохо. А Володя, сам моложе Васи на 4 года, изрёк как-то, что, по его наблюдению, все мальчики, которым рано дарили ружья, всегда учились плохо. Возможно! Отношения мои с Васей соответствовали нашему возрасту. Он не замечал меня. Мы были на «ты», и иногда у меня мелькала мечта: «Ах, вот быть бы с ним на “вы”»! А пока что он был объявлен крёстным отцом моей куклы Мурочки, и это меня вполне удовлетворяло.

Перед тем как перейти ко второму лету, ещё раз вернусь на нашу дачку: отчего-то, кажется мне, дождей в то лето вообще не было. Стояло дивное лето. Мама, лёжа в своём любимом гамаке, читала нам роман Локка «Любимый бродяга» (я очень гордилась: взрослая книжка). И мы обожали героя — Параго. Папа в то лето распевал арии из «Риголетто» по-итальянски, и мы с Володей повторяли за ним роковой речитатив — встречи Риголетто с наёмным убийцей. Изредка наша Саша отправлялась куда-то далеко на базар, и эти дни кухонную печь растапливал Володя — в ночной рубашечке. Что ему, бойскауту, стоило справиться с берестой, растопкой и вьюшками? Не маме же топить! Смешно, когда есть такой сын.

Второе лето, 1917 года, было совсем другим. Теперь наша семья поселилась в самом большом доме, в одной комнате на втором этаже. Приехали в Луговое и Покровские (тётя Оля, Борис и Всеволод, он же Лялька) — постоянные друзья нашего детства.

Не знаю, как было с продуктами тогда в Петрограде, но помню классический диалог по вечерам в маминой спальне: «Ну, что же, Сашенька, мы будем завтра с вами готовить?» Долгая пауза, и всегда один и тот же ответ: «Крупы есть, барыня». И варилась рисовая каша на молоке. Всё лето. То ли от лени, то ли по другой причине. Папа удивлялся: как экономно ведётся хозяйство!

Иногда приходил к нам славный мальчик лет семи, Жоржик. Жил он где-то в имении с молодой няней Марусей. Жоржик был поляк, черноглазый, хорошенький и благовоспитанный. Он заикался. «М-м-аруся!» или «М-м-адам Мунц» — так церемонно он называл маму. Жоржик крутился около углового шкафчика в столовой, терпеливо дожидаясь, когда мама догадается угостить его толстым солдатским шоколадом. Однажды приехал его отец. Был он в офицерской форме со множеством ремней, и сразу пахло на нас войной и тревогой — и оттого, как он торопился и был серьёзен, а ещё оттого, что приехал он совсем непривычно — на мотоциклете, ворвавшись с треском, пылью и запахом бензина в безмятежное Луговое.

Дом был, видимо, весь заселён. Комнат было много. Какое-то время на большом открытом балконе собиралось к столу огромное весёлое общество, так как в имении жили офицеры, многие с жёнами. Лето то 17-го года было «при Керенском». Где, по каким комнатам или дачам они жили, совсем не знаю. И всё ли лето провели, тоже не помню.

Жил ещё в доме m'Albert — школьный француз с женой и дочкой (и шли, увы, всё лето уроки французского языка). А на дальней даче, в Лугах, обосновалась группа старшеклассников — так называемая трудовая колония гимназии Мая под руководством учителя гимнастики Николая Ал. Низовцева. Эти мальчики работали в полях Екатерины Петровны, видимо, заменив исчезнувших к этому времени рабочих.

Обожжённые солнцем, с выгоревшими волосами и сияющими глазами, мне кажется, что они были очень счастливы. И действительно, что могло быть лучше? Чья это была удачная мысль устроить эту колонию?

В даче за теннисным кортом поселилась многодетная семья беженцев-латышей. Взрослые работали у Екатерины

Петровны. Я дружила с детьми — Мартой и Августом. Дома было у них необычайно выскоблено, чисто. Однажды меня пригласили поужинать с ними. Я села. Хозяйка подала к столу ароматное отварное мясо, нарезанное аппетитными ломтями, в большом белом эмалированном сосуде с ручкой — я обомлела: неужели в Латвии назначение этого предмета не было известно?

У меня появились ещё две подруги, немного постарше меня: Шура Низовцева и Соланж Альбер, черноволосая мрачноватая девочка с формами под бойскаутской курткой. Все мы трое были влюблены: Соланж — в одного офицера, который не смотрел на неё, Шура — в Майца Омольянинова, я — твёрдо в Васю.

Но не это всё было самым главным для меня. Оказалось, что до 8 лет, до Лугового, я вовсе не знала животных! Дома у нас не было никаких зверей. Мама терпеть не могла кошек, а отец любил собак, но считал, что держать в городской квартире собаку без своего сада просто жестоко. Коровы мне, городской жительнице, представлялись просто опасными чудовищами. А тут вдруг всё нахлынуло на меня, и оказалось, что меня не оторвать от этого мира четвероногих! Впервых, собаки: Васина Дези, бульдожка, и ещё два бульдога, уж не знаю чьих. Старый свалевшийся пёс Валик, доживавший свой век в коридоре между кухней и комнатами, благоухающий псиной. Кошки. Разные собачки всех размеров, прибегающие в гости, — все мои друзья. А коровы! А лошади!

Перед большим домом висел гонг — попросту железная рельса, в которую били одним условным образом, чтобы собирать нас к столу. И другим образом — чтобы возвращать стадо с полей. То и другое было моей обязанностью. Большой железной палкой я выводила быстро «динь-динь-динь-динь-динь» для пастуха. И мне очень нравилось, что неизменно через какое-то время вдали еле слышно начинали

звучать колокольца. Сначала слабо, потом всё громче и громче, потом снова тише — это стадо шло в обход огорода, чтобы не месить чистую дорогу. Тут я летела в коровник и становилась в середине его. Тихо. Благоухает сеном. Всё прибрано. И только изредка вздыхает, погромыхая цепью, огромный розово-белый бык Бравый. Он, бедный, никогда не гуляет, иногда же, если в закуточке есть новорождённый телёнок, замычит он низким, не подобающим ему басом.

Коровник очень большой, на 24 коровы. Я стою неподвижно. Стадо всё ближе и ближе. Я не отрываясь смотрю в светлый четырёхугольник ворот и знаю: только Луна! И никогда ни одна другая корова не посмеет подойти первой. И вот, наконец, появляется голова Луны. Поворачивается ко мне, останавливается и, вытянув шею, громко мычит, приветствуя свой дом. А потом все быстро разбредаются по своим местам. Тут я убегаю и помогаю работницам пристёгивать коров на цепи, обнимая каждую тёплую шею, чтобы пропустить в кольцо цепи перекладину. И начинают стучать поднимаемые коровьими носами крышки их поилок. Устроено так, что когда тяжёлая крышка падает, поилка наполняется опять свежей водой. Гремят подойники. Начинают звенеть первые голубоватые струи молока. Я отправляюсь в пристроечку, где его процеживают, и аккуратно записываю в журнал удои каждой коровы.

Так милая Екатерина Петровна «играла» со мной в своё хозяйство. Ещё как-то мне было поручено пасти двух поросят, средненьких, т.е. самых быстрых. Тут уж я побегала всласть, что там теннисные мячи! Не было ли это уже в последнее лето, в 18-м году? Так как мне запомнились руки Екатерины Петровны в кольцах и в мыльной пене, моющие этих визжащих поросят в белых тазах.

А конюшня! Тут всё было другое. Лошадей я уважала, любовалась ими и побаивалась, тщательно обходя их тылы.

Носила им угощение, протягивая его на осторожно выпрямленной ладошке, гладила их бархатные носы и вдыхала благородный запах конюшни. И любила ходить туда одна.

Тишина была почти церковная, никаких колокольчиков, только иногда глухие удары копыта о деревянную перегородку. По сей день помню имена всех лошадей. Васина Дисциплина, славная семья серых рабочих лошадок — Загадка, Смекалка, Слава и Шарада. А две лошади были слепыми. Инвалиды войны 14-го года. Я не буду перечислять всех. Пусть их имена так и умрут со мной. А вот коров не всех помню. Однако знаю, что породы они были холмогорской.

Коровник и конюшня были одинаковой архитектуры, такой, какую я встречала позже в Прибалтике: крупные валуны, соединённые цементом, красные кирпичные наличники окон и кирпичные углы здания. Красиво.

Ещё одно особое развлечение — каретный сарай. В темноте старые и разнообразные экипажи казались огромными. Я перелезала с одного места на другое. Толстые и пыльные фартуки еле гнулись. Я то сидела на высоких козлах, то прилаживалась на запятки, то залезала в самую глубь кареты, и мысли бродили в воображаемом чужом прошлом. Ещё было несколько сеновалов — а как интересно играть на сеновале, можно не описывать. Как прыгать с верхних балок под крышей, кувыркаться и закапываться — это знают все дети, которым посчастливилось безнаказанно мять сено, как делали мы. И наконец, нельзя не упомянуть больших «финских» качелей. Качели — между теннисом и кухней. Простоя у них не бывало. Все — дети, взрослые, гости, работники, прислуга — все качались на них: одни робко, другие нормально, третьи «до гнущихся верёвок».

Увлечения моего животными, кажется, не разделял Володя. Да пожалуй, так оно и осталось на всю жизнь, хотя в дальнейшем я оказалась «однолюбом»: ведь один пёс Лойка — для целой жизни маловато. Может быть, вспыхнувшую тогда во мне нежность к зверью унаследовала полностью Оля Мунц, превратив её в свою профессию?

А тогда, в Луговом, в это второе лето Володя жил своей жизнью с Всеволодом Покровским: теннисом, уже-нем, луками и уж не знаю ещё чем. Жаль, что не осталось ни единой фотографии этих лет. Одна лишь папина неоконченная карикатура: высохший добродушный Всеволод с ракеткой хочет идти на теннис, а сердитый Володя с дрожащими от гнева губами идёт удить рыбу. Оба в костюмах скаутов. Вот и вся «иконография» Лугового...

Мальчики ходили за грибами. Как полагается, уходили ни свет ни заря с корзинками, вёдрами и кувшинами. Возвращались нагруженные полностью, да ещё использовав свои рубахи, для чего завязывались рукава и ворот, наподобие винных мехов. Глядя на груды грибов, родители как-то возмутились и потребовали, чтобы хоть 10% отдавалось хозяйке имения. Для этого на большом балконе решили раскладывать «по росту» весь улов, после чего Екатерина Петровна со смехом считала пальчиком: раз, два, три... И каждый десятый гриб шёл к ней «на сушку» (воображаю! всё туда же, небось, на кухню).

В дни папиных приездов совершались далекие прогулки, особой любительницей которых была тётя Оля Покровская.

Ходили купаться далеко за линию железной дороги, мимо имения Бехли, на Белое озеро. В этот год отец утопил в нём своё обручальное кольцо (обошлось!).

Против фасада дома была вырублена просека до самой линии железной дороги. Станция была левее, и по дороге

от станции до нас было версты 4–5. Поэтому часто приезжающие (Вася или сама Екатерина Петровна) махали чем-нибудь белым из окна вагона. А с балкона смотрели на мелькающий в просеке поезд. Тут же закладывалась коляска или седлалась Дисциплина, и успевали встретить приехавшего.



Третье лето началось так. Первыми весной уехали в Луговое Вася и Володя. Мне помнится, они поехали «заняться там хозяйством» (18-й год?!). После этого, пока мама ещё не готова была ехать, Екатерина Петровна попросила отпустить меня с ней. Что могло бы быть лучше?

Прособиралась Екатерина Петровна целый день, и приехали мы на Варшавский вокзал поздно вечером. Народу на вокзале оказалась масса. 18-й год! Екатерина Петровна с трудом пробивалась сквозь непривычную мне тёмную толпу, повторяя: «Пропустите с ребёнком! Пропустите с ребёнком! — потом, обернувшись ко мне: — *Sois plus petite**». В набитом вагоне я, видимо, спала. Но зато путь со станции до имения я запомнила на всю жизнь. Сколько я потом ни видела рассветов, сколько ни вдыхала запахов весенней росы, молодых берёз, ландышей и утренней свежести — ничто не стёрло воспоминаний об этой первой ночи, поразившей меня новыми ощущениями.

Утром я проснулась в комнате Екатерины Петровны, оттого что Володя, сияя глазами, держал перед моим носом кружку с пенящимся парным молоком. Я рассердилась. Ещё хотелось спать, и я не любила эту пену. Но я сразу поняла, что хозяйство действительно ведут Вася и Володя!

Мне сейчас совершенно непонятно, что же делалось в имении в 18-м году? Коровы были на месте, но, может быть, их было меньше? Лошади были не только на месте,

**Sois plus petite* – (фр.) *Сделайся меньше ростом.*

но ещё двух купили. Кто работал? Не знаю. Турнепс положили на полях мы — дети (в это лето с нами жили ещё братья Беляевы) — и получали даже какую-то плату! Мы все копали теперь уже большой огород, тот, что обходило стадо, возвращаясь домой. И в то же время было весьма голодно, изо дня в день мы ели суп из лебеды, сменяя его ухой из солёных сметков; появился сахарин. У меня начались нарывы на спине, отравлявшие мне жизнь. Помню, как однажды папа и мама повели меня на станцию, где стоял белый санитарный поезд, чтобы показать врачу, и как мне было стыдно, когда старый военный врач тут же, в белом коридоре белого вагона, задрав мою рубашонку, осмотрел меня. А мимо ходили солдаты! Это было ужасно.



Как жаль, что я так мало запомнила от этого последнего лета старой эры, захавшей уже давно в новую эру, которая ещё не дала себя почувствовать.

Ещё помню одно горькое событие. Как-то ночью мама не спала и слышала тонкое ржание лошади, всё удалявшееся. Но ей это было, как говорится, ни к чему. Утром же обнаружили, что с конюшни свели Славу. Как терзалась мама, что не подняла ночью тревоги! Вася оседлал свою лошадь и несколько дней ездил по каким-то ярмаркам, базарам, тщетно ища следов Славы. Но так и не нашёл.

Мы прожили всё лето. Под осень, с разрешения Екатерины Петровны, после уборки урожая мы ходили с Володиёв по скошенным полям и собирали опавшие колосья. Потом сами молотили их на столе в опустевшей комнате m-me Albert молотками от крокета, распевая в такт старинные куплеты времён нашего дедушки. Слова этих куплетов к Луговому, конечно, не относятся, а всё-таки напишу их. Ведь мамин отец родился в 1837 году.

*Кум мой милый на Литейной
Лавку книжную открыл.
Рядом с ней завод питейный –
На поддержку русских сил!
Ой, ши-ши, ши-ши, ши-ши!
Как не спеть тут от души:
У соседа люда много,
А у кума – ни души!*

Веять нашу рожь мы ходили на большую веялку и привезли в Петроград мешочек – килограмма в два – ржи.

Вот и все мои убогие воспоминания о последнем лете. Все вернулись в Петроград, и потом помню день, когда кто-то вбежал в нашу столовую со словами: «Луговое разгромлено!» Вот и всё.

Добровольские уехали.

Долгие годы мы ничего не знали о них. Всё ушло в прошлое.

И вот, году в 50-м, мама получила письмо от Екатерины Петровны. Как она нас отыскала? Она написала, что все эти годы они жили в Эстонии, что после войны Васю арестовали и он исчез.

Как-то, путешествуя с Фэфой* по Прибалтике, мы отыскали в Таллине улицу Тоом-Колли, 4, и я с трепетом позвонила в квартиру на 2-м этаже. Открыла дверь молодая женщина – жена Васи. Во второй комнате спиной ко мне сидел за письменным столом Вася. В том же обычном для него свитере, с узкой головой и покатыми плечами. Сердце ёкнуло. Но он встал, повернулся ко мне – это был другой сероглазый мальчик шестнадцати лет, сын Васи. Екатерины Петровны не оказалось, она гостила у сестры в Кавголове. Квартира была скромная, но было удивительно, что

* Фэфа (Фефа) – Фёдор Фёдорович Волькенштейн, физик, третий муж Н. О. Мунц.

всё опять было красивое. Так, точно к Екатерине Петровне приклеивались только красивые люди.

Мы вернулись в Ленинград, и я попросила Вэру* ответить меня в Кавголово.

Дальше я предпочла бы не писать. Я никогда не прощу себе того, что произошло в Кавголово. Сестра Екатерины Петровны — полная, красавица — была удивительно антипатичная дама. И вот теперь, встретив её через 40 лет, я была ошарашена её приёмом. Просто не понимаю, как можно было остаться такой же все 40 лет. Или как можно было встретить меня так через 40 лет? Оказалось, что Екатерина Петровна «ушла в баню только что». Я попросила сказать, где баня. Я пойду туда! «Ах, нет, ну что вы, это неудобно». Она не попросила нас зайти, не предложила посидеть, подождать. И я так обиделась и возмутилась, что уехала. Ну конечно, не навсегда! Я ещё увижу Екатерину Петровну, жизнь ещё такая длинная! Так думала я. А оказалось — этого и не случилось. Ну можно ли было из-за такого пустого чувства, уязвлённого самолюбия (и кем ещё?), уйти!

Екатерина Петровна прислала мне письмо. Огорчению её не было границ. И моему раскаянию — тоже.

*Москва.
Апрель – май 1980 года.*

*Вэра (Вера) – Вера Фёдоровна Матюх – подруга Н. О. Мунц, художница.



БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ,
ДОМ 50, КВ. 9



«Динамо». 1945.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы переехали в новую квартиру осенью 1912 года.

В это лето — мне было 4 года — жили мы на Чёрной речке, на даче Фредерикса. И переезжали с квартиры на квартиру родители без нас. Мы знали, что в новом доме будет лифт. Новое слово. И играли мы в лифт так: на верхней ступеньке террасы стоял мой двоюродный брат Коля, гимназическим поясом с холодной бляхой перетягивал меня поперёк живота и поднимал наверх на балкон — это был лифт.

В это лето на дачу к нам приехала из Одессы тётя Оля Митрофанова. Красивая, высокая, весёлая. Её сын Алёша, лет шести-семи, и племянники Ваня и Коля Мунцы. И французенка Вани и Коли. Ваня был тогда толстым гимназистом лет 14-15.

Помню, что, подъехав на извозчике со станции, старшие мальчики перемахнули через забор прямо в сад. Потом Коля бросился в гамак и, раскачиваясь, задавал нам быстрые, деловые вопросы: «Качели есть?» — «Есть...» — «Шалаш есть?» — «Нет...» — «Надо построить!» Мы с Володи стояли, растерявшиеся, какие-то маленькие и чёрные, загорелые, перед этим розовым голубоглазым мальчиком в гимназической летней форме с хорошеньким веснушчатым носиком.

Недалеко от нас жили Фомины. Скромная, бледная девочка Идочка и ясноглазый мальчик с волосами ёжиком — Игорь. Они приходили к нам, но я их дачи не помню.

Этим летом на мамины именины (как и многие, многие годы после) с утра сюрпризом развешивалась на

бревенчатой стене балкона огромная буква «М» из гирлянд брусничных листьев.

Мама всегда вставала поздно. И в этот день она выглянула из окошка своей спальни во втором этаже, поздоровалась со мной и спросила, не холодно ли мне. Я сказала: «Нет». — «А что ты делаешь?» Я сказала: «Гвóздики подаю». И сама пришла в ужас: какие гвóздики? Ведь это же сюрприз, а я его выдаю! Но мама ничего не поняла.

Ещё было в этот день смешное: в конце нашего сада был домик сторожа. И оттуда неожиданно появились два дружных поросёночка, очень весело, помахивая ушами, семенящих прямо к нашей даче. «Лина, Лина, к тебе визитёры!» (Так, конечно, могла пошутить только младшая сестра, тётя Оля.) Для гостей было рановато, но я как сейчас вижу мамину светскую улыбку, с которой она появилась в дверях балкона, и её разочарование и даже обиду.

Потом ещё в то лето родители привезли Володе на именины костюм индейца — пёстрые перья на голове и вокруг пояса. Ваня, Коля и Володя тут же исчезли. Через некоторое время захожу в комнату мальчиков и вижу: Вовочка стоит в этом костюме, пытаюсь улыбаться; бледный, зуб на зуб не попадает, а Ваня и Коля не торопясь усердно расписывают его акварелью, имитируя татуировку — с ног до головы. Вовочка терпит.

Алёши Митрофанова я в это лето почти не помню, если не считать рассказа о том, как под конец лета в азарте игры в казаки-разбойники он вылез на крышу и пополз по самому коньку с опасностью для жизни — и к восторгу всех старших мальчиков. А дача Фредерикса была очень высокая!

И ещё два воспоминания, позорных для меня.

При даче была маленькая рыжая собачка типа таксы. А я тогда ещё боялась собак. И из-за меня эту несчастную собачку держали на привязи. Но вот раз, когда я «играла»

в крокет, появилась развесёлая таксочка на площадке. Я с визгом бросилась наутёк, зацепилась за мышеловку, полетела, и — боже, какой был рёв! Это — одно.

Второе. В конце лета. День нашего отъезда с дачи. Сырой, унылый день. Фрушка (наша милая весёлая фрейлейн), сердитая, обходит весь сад, собирая разбросанные игрушки, и ворчит по-немецки на нас, детей. А я плетусь сзади и гужу ябедным голосом: «Das sind die Knaben, das sind die Knaben...»^{*}

И самой противно.

Итак, осенью мы въехали в нашу новую квартиру, где мне суждено было прожить всё детство, юность, своё первое замужество, вернуться снова сюда во время блокады и отсюда покинуть навсегда Ленинград.

Мы все очень полюбили нашу квартиру, с самого начала: светлая, радостная! Может быть, после квартиры в доме Елисеева, мрачноватой, в Волховском переулке.

Теперь адрес наш был: Большой проспект Васильевского острова, дом 50, кв. 9.

Подъезжая на извозчике к дому, мама неизбежно говорила: «Извозчик, голубчик, налево, к фонарю». А я добавляла: «5-й этаж на лифте». Очень мне это казалось остроумным.

Дом принадлежал некоему генералу Демидову. Помню его и его жену. Он скромный, благообразный, а жена — пышная красавица. Вижу её — в кружевной огромной летней шляпе (говорили, что она раньше служила прислугой).

С самими владельцами жильцы дома только любезно раскланивались, а для деловых отношений существовал некий Матвей Иванович, управляющий домом; персонаж резко отрицательный, с внешностью Распутина и препротивным выражением лица. Когда в нашей семье ссорились (а это бывало) и кто-нибудь из нас, детей, выпаливал злые

^{*}*Das sind die Knaben, das sind die Knaben... — Это мальчики, это мальчики...*

вещи, прищурив глаза, говорилось сразу: «И, пожалуйста, не делай физиономии Матвея Ивановича!»

Демидову принадлежали и все старые дома вдоль проходного двора, выходявшего на 16-ю линию через подворотню дома 13. Эта подворотня памятна мне по более поздним временам нашей юности, когда мы возвращались с вечеринок среди ночи: парадная заперта, дворника не дозвонишься, и мы пролезали на животе под железными воротами, подложив, что найдётся, на занозистые доски настила.

Наш новый дом был только что построен архитектором Косяковым (одним из братьев Косяковых, строителей Кронштадтского собора).

Перед домом был сад, как и у всех домов по Большому проспекту. Только другие дома были за глухими заборами, а наш — за чёрной изящной решёткой. Впрочем, нас, детей, это совсем не радовало.

С этим садом связана масса воспоминаний. Игры, игры, футбол, коньки, а потом уже (без Володи) обожаемая мною лапта. Коньки — на маленьком самодельном катке, который мы сами расчищали, а поливал дворник.

В саду — все наши соседи, друзья детства: Беляевы, Пастуховы, Януши. Позже Павлухины... Спортивные игры приносил Володя из гимназии Мая, где была так хорошо поставлена физкультура, которая тогда, конечно, так не называлась, а называлась просто «гимнастика».

Сам Володя был очень спортивный. Всегда серьёзный, горячий, ужасно принципиальный. Смеющимся его как то и не помню. Ко всему относился с увлечением и всерьёз. Мы с ним любили наши коньки — тщательно протирали их. Любили мячи, любили наши большие деревянные лопаты для снега (у меня чуть поменьше Володиной). Нет теперь таких!

Володя чертил дома проекты крепостей из снега, которые мы потом строили в левом садике у дома; противниками нашими были «немцы» в соседнем саду (в доме 52): мальчики Шмидты с тухловатыми глазами и оттопыренными ушками и Цоппе — «Цопка». Нам в голову не приходило, что фамилию Мунц тоже можно было считать немецкой.

Я всё старалась делать как Володя. Его идеалы были моими идеалами. И понятия о чести, благородстве, храбрости прививал мне, по-моему, только он. Я боялась его осуждения больше всего на свете.

Если моим идеалом был Володя, то Володиным спортивным идеалом был его соученик Тещанский-младший. «Тёща», как звали его в классе. Он вскоре ушёл из гимназии, и следы его утерялись. Однако через много лет (но ещё до войны 41-го года) Володя увидел на улице афишу, где была такая строчка: «Легкоатлетические состязания на приз имени Тещанского». Значит, не зря Володя так им восхищался и значит, Тёща погиб где-то безвременно. Но мне запомнилась эта семья по другому поводу: старший Тещанский был случайно застрелен из ружья своим товарищем. Володя со всем классом был на его похоронах. И мать убитого поцеловала убийцу своего сына. Это потрясло меня тогда и продолжает восхищать сегодня.

Рядом с нашим садом, справа, за высоким забором, был немецкий приют, девочки там носили красные капорчики. Они обычно забирались на вышку с их стороны и с завистью смотрели на наше веселье. Когда футбольный мяч залетал в их сад, мы хором кричали: «Красные шапочки, бро-о-сьте мяч!»

Потом, когда была уже эра лапты — это было после революции, магазинов не было, и мяча для лапты у нас часто не бывало, — я вязала мячик большим крючком из трипичных полос. Потом обшивала, наподобие

теннисного, — мяч получался убийственно твёрдым, похожим на хоккейный, но вполне пригодным для лапты.

Во время войны 14-го года мы, конечно, играли «в солдат». Маршировали, учились строю и разным приёмам с винтовкой. У всех были ружья.

Однажды прямо против нашего дома перед отправкой на фронт святили лошадей Финляндского полка. Священник шёл вдоль ряда и брызгал святой водой. Лошадей держали под уздцы, они фыркали, приседали и пятились, а мы стояли, выстроенные в наших воротах, сделав «на караул». Никто не помнит, чтобы святили лошадей, а я это вот видела!

На 19-й линии, между Большим и набережной, были казармы Финляндского полка. Отец наших друзей Янушей — Анатолий Вячеславович — был офицером этого полка.

По ту сторону Большого, на углу, была часовня. У этой часовни своя история. После революции сначала там проходили частные уроки закона Божьего. Преподавал отец Фёдор Разумовский, молодой и иконописный. Учеников помещалось человек 8–10. В заднем ряду Нина Павлухина и Никита Фролов держали друг друга за руки, считая, что этого никто не видит. Отец Фёдор посмеивался. А потом отец Фёдор бросил свою профессию, и я тогда впервые услышала от мамы слово «расстрига».

После этого там был цветочный магазин. Потом фотография. Именно туда повела мама в начале войны 1941 года Сашу и Леночку сфотографироваться вместе. Куда-то разлетёт их война? Когда увидятся?

А тогда, когда часовня была часовней, за ней находилась домовая церковь Финляндского полка, куда нас, детей, всегда водили и где были мои первые заутрени. Часть церкви, поближе к алтарю, была отделена от остальной деревянной загородочкой.

В этой «чистой» части люди стояли раздетые, без пальто. А за перегорожкой — в пальто, платочках и шинелях. Так, по-видимому, отделялись прихожане-офицеры и их семьи от нижних чинов.

Девочки Януш, Ира и Нина, всегда с синими бантами в косах и на голове, стояли с братом и мамой у правого клироса. Я смотрела на них и думала: вот они молятся, чтобы их папу не убили на войне. Его не убили, но контузили, и у него до конца жизни всегда болела голова.

Однажды против нашего дома со мной чуть не произошла беда. Мы стояли с мамой на той стороне, ждали, чтобы перейти Большой, к дому; а слева от нас маршировала рота солдат. Вдруг я решила перебежать улицу перед их носом. Перебежала, а за солдатами оказалась жёлтая почтовая коляска. И я угодила прямо под лошадей. Помню над собой серые лошадиные животы и кругом много пляшущих копыт. Но я оказалась цела и невредима, и мама тут же повела меня в часовню на углу, чтобы поставить свечку.

Я упомянула заутрени. Не сама заутрени была особенной. Хотя помню свет и жар от свечей и нарядных людей в церкви. А вот необычно и замечательно было то, что тебя будят среди ночи и ты напяливаешь на себя бельё и чулки на теплые, но ещё не выспавшиеся ноги, и моешься как-то не так, как по утрам. Тебя наряжают, завязывают парадный бледно-розовый бант (всегда где-то сбоку-сзади, по маминому вкусу). Тебя слегка знобит. И непривычно пахнет ночная улица. И ты перепрыгиваешь через прозрачные лужи и ручейки по булыжникам и по плитам тогдашних петербургских тротуаров, — да и не «тротуары» вовсе это называлось, а «панели»!

Напротив часовни, с нашей стороны улицы, находился мой первый кинематограф. По вечерам зажжённые электрические лампочки образовывали по дуге слово

«ЛОТОС». Чудо рекламы! Не надо ведь забывать, что невысокие фонари наших улиц были газовые и зажигал их в сумерках человек с лесенкой, чиркая спичкой.

А в начале голода, году в 17–18-м, две предприимчивые дамы открыли в этом доме столовую, называлась она «Первая гигиеническая столовая». В одной из комнат квартиры на втором этаже были расставлены столики разных домашних фасонов под белоснежными скатертями, и чья-то племянница, Вера — блондинка с отсутствующим подбородком, — молчаливо и поспешно бегала с подносом. Основной запас продуктов в столовой были сельдерей и петрушка. И всю жизнь эти запахи мгновенно воскрешают в моей памяти эту Веру, совершенно прозрачные и пустые супы и крошечные порции второго. Но всё было очень гигиенично. И пусто.

В годы НЭПа в этом доме была частная булочная и пекарня. Я бы забыла это, но запомнились её хозяйева, отец с сыновьями: трое мужиков, обсыпанных мукой, и все трое похожие на обруселого Зевса — с прямыми широкими носами.

Промелькнул НЭП. А булочная, пережив всё: и карточки, и сытые годы, и блокаду с её крошечными кубиками хлеба, до сих пор всё булочная!

В середине нашего сада росла старая берёза, а кругом, вдоль дорожки, были посажены чинные молодые тополя. Благоухали эти тополя восхитительно, наполняя незабываемым запахом наши комнаты, а вернее, просто всю мою юность, когда белые ночи вошли в мою жизнь как нечто неотъемлемое, вместе с ночными зубрёжками, работой и вечеринками.

Тополя росли очень быстро, скоро переросли берёзу. На одном из этих деревьев я прочла впервые «Войну и мир», сплетя себе какое-то подобие сиденья. Это дерево

стоит до сих пор — я могу его отыскать. Хотя садов давно уже нет, всё превратили в широкие бульвары. И переименовали Большой в проспект Пролетарской Победы. Так долго назывался он официально, и только после последней войны вернули ему его старое название.

Правда ли, что на Васильевском острове всегда жило много немцев, или не так это, но в нашем доме их было много, или, во всяком случае, было много семейств с иностранными фамилиями. Из двенадцати квартир я помню: Хейнбергеры, Фон-Паркау, Каррек, Штирены, Винклеры, Мунцы — и только две русских фамилии: Беляевы (наши двоюродные братья Кира и Кадя) и Добровольские. Ещё внизу жил мальчик немец Лёва, который уехал в 14-м году в Германию. Он мне очень памятен: у него был детский красненький автомобиль! Когда я садилась кататься, он снимал с сиденья и галантно брал под мышку кожаную подушку вишнёво-красного цвета, чтобы мои ноги доставали до педалей. И шёл рядом преувеличенно деловым шагом. С тех пор я всю жизнь мечтаю о вишнёвой машине. Любила свой кожаный пенал, сумочки — а вот такой машины всё нет!

У этого немца Лёвы я впервые увидела валенки. Ведь тогда же их никто в Петербурге не носил! Даже дворники ходили в русских сапогах. И я всё расспрашивала Лёву: неужели их надевают не на ботинки?

Парадная дверь нашего дома. С ромбовидным стеклом. Нет этой двери. Потом — несколько ступеней, и слева серый камин. Не знаю, сохранился ли он? В этот камин много позже Володя зачихнул кепочку свою, которую его заставляли взять в Москву, а он не хотел. Ехал он от «допризывников» на первый физкультурный парад, году в 20-м. Ей-богу, странно, но я помню, что проделал он всё это путешествие в трусах! Лето было, правда, очень жаркое.

И был урожай яблок. Ходила такая острота: «Что общего между Советской Россией и раем?» — «И тут и там ходят голыми и едят яблоки». До армянского радио ещё было очень далеко... остроты были примитивные.

Слева, под парадной лестницей, — швейцарская. Тощий швейцар, фуражка с золотым околышком. У него дочь Надя, в очках, образованная, хромая, типа курсистки с явным комплексом неполноценности, сказали бы сейчас.

Потом — лифт. С красной бархатной скамеечкой. Мы, дурачки, посадив маму в лифт, неслись с ним наперегонки по лестнице на 5-й этаж. И попевали. А после революции лифт стал. И заработал лишь после войны в 45-м году, когда, по-видимому, он перестал уже казаться буржуазной затеей. Но нас там уже не было.

В квартире было шесть комнат. И с каждой из них связаны свои воспоминания. Так, переходя от одной к другой, буду я писать дальше.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Справа от передней — весёлая небольшая комната на юг. Из широкого окна видны были за трубами других домов мачты кораблей на Неве, а ещё дальше, левее, — купол Измайловского собора, синий с золотыми звёздочками — если погода ясная, их было видно.

Дом ближайший, напротив, был ниже нашего этажа. Там жили Пастуховы: Шура — Володин одноклассник, Надя и мой друг Коля. Отец их был моряк, кажется, адмирал, но мне казалось, какой-то не военный. Хотя довольно важный, потому что по утрам за ним приезжал автомобиль, останавливался около сада, и мы с балкона разглядывали его в плане: решёточка вокруг крыши, белый верх и в середине на крыше — колесо.

Среди труб перед окнами был один любимый брандмауэр, очень удобный для всяческой стрельбы. Вероятно, сначала стреляли из рогаток, из арбалета, а потом из Володиной «франкотки». И был знаменитый случай, когда ворона села неосторожно на трубу, а Володя быстро и негромко оказал мне: «Тася! *Donne -moi le fusil**». (Ворона не поняла, но, видимо, почувствовала и улетела.)

Судьба этой комнаты была самая пёстрая. Наверное, из-за её изолированности и близости к парадной.

Сначала это Володина комната. Потом, когда нашу фрейлейн Фрушку сменила m-lle Monfillard, это она поселилась здесь.

Шарма в этой француженке, прямо скажу, не было. Бюст её неизменно напоминал мне неодетый дамский манекен. Высокий воротничок с косточками, взбитые балкончиком

* *Donne moi le fusil* – (фр.) Дай мне ружьё.

волосы. Видимо, по утрам она завтракала у себя в комнате, потому что, когда раздавались из её комнаты два звонка на кухню, это значило, что я должна одеваться, чтобы идти гулять. Вот гуляла она, правда, хорошо, неизменно меняя маршруты, и, наверное, эти прогулки больше давали мне познаний во французском, чем скучные уроки у неё в комнате.

Однажды, гуляя по набережной со стороны домов, m-lle Monfillard заинтересовалась памятником у Невы: «*Qui est-ce?*» — «*Ça? C'est Pierre Le Grand**». M-lle Monfillard мне не поверила, перешла на другую сторону и, к моему позору, прочла: «Крузенштерн». Я просто очень любила Петра Великого.

Потом комнату Вовину снимал Генрих Викентьевич Хорошевский, пан Хорошевский, очень колоритный тип. Студент Горного института, высоченный, в крахмальных воротничках, с большими рыжими усами и усталыми глазами. Разговаривая, он всегда норовил к чему-нибудь прислониться для устойчивости. Посреди его комнаты возвышалась груда «геологических образцов» — попросту камней. Он столовался у нас и был симпатичен и немного смешон с изящными длинными руками и заиканьем.

Конец его, по уверению нашего отца, был трагичен.

Дело в том, что в тот год (вероятно, это был 16-й) Володя увлекался бомбами, которые он мастерил из глины, начиняя их порохом. Потом пускал их вниз с балкона, и они прекрасно разрывались в саду. Однажды небольшой взрыв произошёл в нашей детской и даже опалил Володе бровь. Был скандал. Всё запретили. Но в день отъезда куда-то Хорошевского мама обнаружила у Володи новую бомбу.

И вот я вижу картину: мама с ужасом показывает её нашему поляку. Он стоит над мамой в передней, прислонившись к выходной двери, говорит: «Ах, М-магдалина

**Qui est-se? – Ca? C'est Pierre le Grand – (фр.) – Кто это? – Это? Пётр Великий.*

Ль-львовна, какие пустяки», — опускает бомбу в свой жилетный карман и уезжает. Больше мы о нём никогда ничего не слышали.

Папа же очень ярко и подробно описывал нам его последний вечер в вагоне поезда, перед роковым взрывом.

Через несколько лет мы открыли его чемоданы и, кроме всё тех же камней (которые было очень нудно выносить на помойку), обнаружили съеденный молью фрак и шикарные костюмы да кучу великолепных карандашей «Koh-i-Noor», которые долго служили нам в годы карандашного голода.

Вскоре после ухода от нас m-lle Monfillard была проездом в Петрограде семья маминого младшего брата, дяди Серёжи, с женой Китти, сыном Костей и сестрой жены Эльзой. Они были беженцами из Риги и, как явствует из имен, Китти и Эльза были прибалтийскими немками; дамы останавливались всё в той же комнате. После же их отъезда Володя обнаружил на дне шкафа оставленную нашей французской тетрадью с карикатурами на бошей из французских газет. И вот теперь часть карикатур оказалась вырванной! Подозрения пали на Эльзу. Володя негодовал, обнаружив у нас в доме следы военной измены!

Не могу не рассказать, при каких обстоятельствах пришлось мне ещё раз встретить эту семью.

В 1934 году я поехала художником-чертёжником в Буреинскую экспедицию на Дальний Восток. И мне с двумя сотрудниками было поручено ехать во Владивосток за какими-то картографическими материалами. Я знала, что дядя Серёжа во Владивостоке, и быстро отыскала его. Была радостная встреча. Жили они, видимо, очень скромно, но тем не менее меня пригласили на следующий день к обеду. В доме был пёсик, с которым я сразу же подружилась.

Назавтра среди обеда я вдруг спохватилась: где же пёс? Хозяева замялись, а потом мало-помалу признались, что продали его корейцам в это утро! (А ведь корейцы едят собак!)

Таким образом был устроен для меня парадный обед...

И давно ли жила у них эта собака? Пять лет. Господи! Да разве не жалко вам было? Ах, нет, нет, он был такой противный, вечно лаял...

На всю жизнь запомнила я цену этого обеда.

После революции, когда во всей квартире царил холод, буржуйки стояли только в Володиной комнате и в столовой (в южных комнатах). Тут жили папа с Володей. Папа работал в пальто и шапке и, между прочим, делал акварелью перспективу к проекту летательного аппарата (типа дирижабля) некоего инженера Махотина (мы называли этот дирижабль «машина-махона» — я вспомнила это, повидав сейчас на выставке «Летатлина»). И ещё тогда же делал папа перспективу какого-то фантастического поезда на одной рельсе.

Потом до 1928 года в этой комнате всё время живёт Володя. Году в 19-м живёт с ним милый и скромный Слава Януш, когда его семья была в Боровичах.

В годы ученья в Академии художеств над дверью появилась красивая перспектива Володиного курсового проекта, написанная тушью и жжёной сиеной на фанере, к ужасу и возмущению Леонтия Николаевича Бенуа: «Это что же? Скоро студенты будут приносить свои проекты прямо на дверях?» (Леонтий Николаевич был профессором и папы, и Володи.)

После 28-го года комната переходит то к нам с Сергеем*, то обратно к Володе, то после нашего развода к одному Сергею, и наконец, когда последний обменялся на Москву, в комнате поселилась Ия Михрянц, уже до самой войны 1941 года.

*Сергей — Сергей Сергеевич Якубов, первый муж Н. О. Мунц, инженер.

ГЛАВА ТЕТЬЯ

Следующая комната на юг — столовая. Проходная. С зелёными банальными цветами у окна. С канарейками — Ханс и Зузи (ишь ведь, тоже немчура!). У Зузи была одна нога. Другую она сломала при переезде. Помню рассказы — что её понесли в аптеку и там ей залили ножку коллодиумом. Оттого ножка и пропала. И к слову «коллодиум» у меня осталась неприязнь. Но ничего, Ханс любил её и хромой!

Цветы поливаю я, и я же чищу клетки и меняю корм. И воду — для питья и купанья. Ханс и Зузи плещутся в ванночке, забрызгивая безнадёжно обои. Когда по вечерам собираются гости и за столом шум, Ханс начинает заливаться трелями. Пока клетку не накроют: «Спать! Спать!»

Канареек выпускали полетать. Они прозаично кидались сразу же под обеденный стол собирать крошки. А однажды мы купили на вербном базаре двух малиновок. Когда открыли их клетку, они взвились под потолок и там уселись на кресты деревянной божницы. Весной мы с папой выпустили малиновок в гавани. Они не сразу улетели: сели на ёлочку, недалеко от нас, и долго удивлялись.

Под птичками в столовой стоял ледник. Он живёт ещё сейчас, перекрашенный, в мунцевской кухне на Кудринской! Все ледники тех лет были одинаковые — покрашенные под дуб. Слева сверху в цинковое нутро набивался лёд. Внизу был краник. Все стенки двойные, цинковые. Куплен он был году в 10–11-м. Я прекрасно помню, как его привезли и зарядили льдом. А потом, ей-богу, не помню льда — видимо, возня с ним надоела. Ледник переезжал всю свою жизнь то в коридор, то в кухню, и в разное время в нём хранились

разные вещи. Только вот в голод, в последний, в блокаду, ах, как врезался он мне в память! Но об этом потом.

Справа от окна висело на здоровых костылях длинное панно на тему «Царя Салтана». Это мамина работа. По своему эскизу она пишет панно в особой, вероятно, модной тогда манере: маслом по гипсу, где все контуры рисунка отлиты в виде выпуклых линий. Графическая условность не без влияния Билибина.

Мама долго и без вдохновения пишет его. По-видимому, весь пыл ушёл на эскиз, и эскиз явно лучше того, что получается. Все советуют, критикуют. Помню в этой роли папиного помощника Женечку Фелейзена — нашего любимого Евгения Николаевича (дядю Нины Дорлиак).

Весёлый, обаятельный, громкогласный. Он архитектор. Талантливый, с большим вкусом, но не кончивший Академии художеств, так как на экзамене по начертательной геометрии он дал по физиономии своему экзаменатору (кто это был? Не Перетяткович ли?), за что был выставлен из Академии и сидел даже несколько дней в тюрьме (всё это нам рассказывалось потом).

За обедом при Женечке весело и шумно. (Ханс заливаётся.) Евгений Николаевич катает хлебные шарики и стреляет в нас, детей. Мама сердится. Явно притворно.

Он крупный. У него большие белые руки, тёмно-рыжие усы, бородка, белозубая улыбка, грустная, как у Нины. Во время войны 14-го года он офицер Преображенского полка. Я рассматриваю в передней кокарду на его фуражке: она так подозрительно похожа на гофрированные бумажки из-под конфет! Приходится потрогать пальцем. Там же, в передней, он оставляет и свою шашку. Я почти-точно смотрю и на неё.

В революцию его арестовали. На вопрос о его убеждениях он сказал: «Монархист». Больше о нём сведений

не было. Тем не менее я помню фразы: «убийство Володарского» и «затопленная баржа с заложниками».

Итак, панно. Да... Не помню, когда оно исчезло. На нашем чердаке, где я хозяйничала уже после 17-го года, где царил запах замороженного белья и тихой пыли, я обнаружила его жалкие осколки.

Над обеденным столом — лампа, какие висели тогда в столовых во всех знакомых мне домах. Я любила рассматривать её отражения разной величины в блестящих кружочках жира в тарелке с бульоном. Лампы эти были переделаны из керосиновых: большой молочно-белый абажур, а внизу — ненужный теперь шар для керосина, фарфоровый. У нас — с синими разводами. Под лампой — электрический звонок на кухню в виде деревянной груши, увы, неизбежно слегка засиженный мухами. Звонок далеко от мамы, и она, когда надо звонить, молча протягивает руку, делая пальцами нужное движение в воздухе, а мы бросаемся нажать кнопку (вообще-то звонки на кухню, стенные, кругленькие, были во всех комнатах).

В столовой — буфет красного дерева. Шкафчик висячий, резной, для вина. Пьют у нас за обедом бордо. И всегда на столе графин с водой. Вечерами взрослые пьют ликёр из глиняных кувшинчиков в два коричневых цвета с изображением египетской головки (что-то с голубым). Пьют и водку из деликатных рюмок на высокой ножке.

Шкафчик из-под вина потом перешёл ко мне, я сделала полочки и держала там под ключом свои драгоценности и дневники. И всё пахло и пахло красным вином.

Вижу я за столом в столовой мистера Эвелая. Когда мне было лет 6–7, он приехал в Петроград из Шанхая. И часто бывал у нас к обеду. Это был друг маминого старшего брата, дяди Жени. Привёз разные подарки. Среди них — батистовое платье мне, с тончайшей вышивкой работы... католических монахинь в Китае! И местный деликатес:

гусиные яйца, пролежавшие в лёссе 40 лет. Желток оказался зелёным, а белок — похожим с виду на желе к телятине. Все храбро попробовали по кусочку. Станный вкус этого лакомства — по сей день.

Мистер Эвелей предложил захватить меня в Шанхай погостить у дяди. Папа и мама согласились. Им в голову не пришло, что и Эвелей, и я приняли это всерьёз. За день до отъезда наш гость спросил, сложили ли мои вещи? И несколько обиделся, узнав, что всё это было шуткой.

В рассказах о Китае Эвелей с симпатией говорил о китайцах (впрочем, мой дядя впоследствии тоже), и это отметили мои родители. А под конец выяснилось, что мать Эвелея — китаянка!

В столовой праздновались наши дни рождения. Детей бывало немного, всё те же самые близкие: Беляевы, Покровские. И только в эти дни, не чаще, покупался торт. Всегда земляничным. И подавался горячий шоколад со специальными к нему длинненькими плоскими бисквитиками — *les langues félines**. Никаких больше разносолов. И было прекрасно.

А к пятичасовому чаю всегда давали кекс и швейцарский сыр. И пахло дымком самовара, и мама мыла потом чашки в полоскательнице. Вообще-то часы трапез менялись в разные времена, в зависимости от папиной работы.

Мама, с тех пор как я себя помню, не ела мяса, её напугали доктора признаками ранней подагры, которой она действительно избежала. Но зато из костей всех куриц, что подавались маме (вместо говядины), по её словам, давно можно было бы сложить верещагинский «Апофеоз войны». Из исчезнувших теперь вкусовостей часто у нас — артишоки и спаржа с маслом. И, странно, — компот из каштанов.

Столовая хозяев мало меняла, но всё-таки, когда прошли самые холодные и голодные времена, комната стала моей до 1928 года.

* *Les langues félines* – (фр.) Кошачьи язычки.

Я жила тут за занавеской, повешенной между маминими плоскими шкапами. У меня теперь стоит рояль, письменный изящный стол (давно куда-то делся), ломберный столик, подле которого я сплю и сейчас, да мягкий диван («приданое» папы, а потом «приданое» Сергея, когда мы с ним разошлись). Мой туалет — стеклянная полочка перед маленьким трельяжем с минимумом туалетных принадлежностей.

Тут прошла моя школа. Тут зубрили мы наши уроки с Ниной Павлухиной ночи напролёт. Тут прошёл и мой техникум. И готовились мы к зачётам уже с Ией Михрянц. Тогда она была Ией Жабá. Да и не Жабá, а Жáба! Господи! Надо же было такой хорошенькой и утончённой девице носить такую фамилию, да ещё совсем не обладая чувством юмора! А отец её, Альфонс Жабá, был довольно известным в своё время не то баталистом, не то акварелистом, и наши преподаватели-художники прекрасно знали, где делать ударение на фамилии. Бедная Ия улыбалась, и краснела, и, подписывая рисунки, хвостик у последнего «а» делала повыше: хочешь — Жабá, а хочешь — Жабó (в школе она была Жабó).

Я писала уже, что именно в этих двух первых солнечных комнатах провели мы наш «добрый старый голод». Так называли мы его в годы блокады 41–42-го годов, оттого что все тягости того, первого, голода были несравнимы с ужасами второго. А ведь и тогда было холодно и голодно.

Лёд в ванне. Лёд на кухне. Таскание бесконечных вёдер с водой (но не с Невы, а из нижних этажей). Кони́на. Но она была. Помню особенно долго задержавшуюся в нашей супной кастрюле лошадиную челюсть. Лепёшки из кофейной гущи. Из мороженого картофеля (превкусно). Мечты о белом хлебе.

Папа священнодействует — сам варит «шоколадные конфеты» на сахарине, давая им застыть в бумажных колечках

на фарфоровом подносе. Это по карточкам выдавали нам желтоватую глыбу какаового масла (и, наверное, какао?). Жарить на этом масле картофель неприятно.

Бесконечные супы из ржавой селёдки и дома, и в школе, и в детской столовой. Мама утешает: «Честное слово, даже чуть-чуть напоминает суп из черепахи». Но мы ведь никогда не ели супа из черепахи! Ещё в детской столовой в меню стояло: «Суп из лошадиных лёгких с черносливом» — даже изысканно. Пшено, пшено, фасоль, пустая и недоваренная. Гадкая еда, но всё-таки еда!

Вобла. Впервые появилась она в моей жизни и ассоциировалась с бурлаками на Волге; думали ли мы тогда, как недоступна она станет в сытые 70-е годы, через 50 лет? Завёртывали её в большую газету и обжигали в пустой изразцовой печке. Шкурка отходит сразу — и получается так вкусно! Зато супы из воблиных голов очень унылы.

Вижу папин завтрак в тот день, когда он сломал себе зуб перед службой: три воблиных головы на сковородке для блинов. И всё.

Папа всё-таки пухнет от голода — значит, не так-то много было и этой еды. Жмыхи, вернее дуранду, ели мы именно в тот голод. Но ведь кругом города была более сытая деревня? Были мешочники? Только в нашей жизни они не участвовали. Почему? Нечего было менять?

Хотя помню один случай, когда мама меняла у нас на кухне обнаруженную на чердаке грубую рыжую соль (верблюжья, что ли, она называется?). На что мама меняла, не знаю, но знаю, что Володя спрятал голову под подушку в своей дальней комнате от ужаса, чтобы не слышать ничего из этого позорного торгашеского дела.

Впрочем, Володя и сам потом как-то пустился в «спекуляцию». Отвинтил ботинки от папиных коньков и повёз их с Васей Добровольским в деревню менять на муку.

Продавал двое или трое суток — поезда еле ходили, надо было скакать с платформы на платформу и т.д. Вернулся с сияющими глазами, загорелый и грязный. «Ну, как?» — «Обменял на 20 фунтов ржаной муки!» Всё чудесно. «А где мука?» — «Ах, мука? Я оставил им свой мешок. Они обещали мне привезти. Непременно привезут!»

Милый Вовочка...

Что же было ещё?

Рваная, промокающая обувь. Обмороженные пальцы, не так уж страшно отмороженные, но всё-таки. У меня нарывы «на почве недоедания», сказал доктор, сначала ещё в Луговом, летом 18-го года (всё лето суп из лебеды, сметки, турнепс), а потом страшные нарывы и операции моей правой руки. Карбункулы у папы.

И целая эпопея — дрова. Дрова выдают на «сажени» из сносящихся деревянных домов. Получаем ордер и берем тележку у m-me Charlah на 16-й линии. Она была счастливой обладательницей тележки (дворницкой, настоящей). По этой причине мама наградила её аристократической фамилией — «m-me Charlatan Charlahàla charette».

Мы везём домой эти сухие, как порох, брёвна, доски с паблей, дранкой и кусками чужих жизней в виде обоев. Потом пилим их, колем и таскаем наверх. Только надо быть осторожными с гвоздями и огромными костылями, чтобы не сломать зубцы чужой пилы. Эти дрова, часто трухлявые, — счастье по сравнению с мокрыми, настоящими, пилить которые — мýка, колоть трудно, носить тяжело, а жечь невозможно!

*А дрова — одна осина,
Не горят без керосина,
Чиркай спичкой без конца,
Ланца, дрыца, а-ца-ца!*

Печурки-«буржуйки» — во всех домах. Печурки в школе (в гимназии Мая, по-старому). Трубы выведены в окна, целый урок один счастливец подкладывает дрова. Все в пальто. Чернила замерзают. Фёдор Лукич, наш классный наставник, шагает вдоль доски в шубе с серым каракулевым воротником и в такой же шапке, оживлённо доказывает теорему и, берясь за мел, стягивает на минутку огромную шитую варежку и быстро натягивает её снова.

В какие-то периоды школа совсем закрывалась от холода, и мы ходили во вторую смену в чужую школу, на углу 7-й линии и Среднего.

Итак, дрова, вода — это обязанности наши с Володей. Посуда — моя. А вот очереди, продукты — наверное, мама? Иногда что-то поручают и отцу, ему не хочется вникать, он говорит противным голосом: «Пожалуйста, только инструкции, инструкции, инструкции». Мама сердится и предпочитает всё сделать сама. Стирает и готовит тоже мама, ужасно волнуясь от неопытности и нерешительности.

А вот в каких-то парадных случаях (Пасха, Рождество) за кулинарию принимается Володя. Вооружившись нашей единственной поваренной книжкой «Кухарка за повара», с решительностью Наполеона он командует нами, месит, печёт какие-то удивительные булочки, а потом и куличи. Печёт и в печурке (усовершенствованной, с духовкой), и в кафельных печах, потом и в плите.

Папа пророчит Володе будущность повара и, дразня маму, уверяет, что это очень почтенная специальность и нечего маме огорчаться.

У самого папы, кроме его прямой непрекращающейся работы, тоже есть специализация: он чинит всю нашу обувь и галоши при помощи резины, резинового клея и струбцинок. Потом папа мастерит из бутылочек из-под

туши коптилки и клеит очаровательные фонарики из картона и кальки с японскими рисунками бамбука и цветущей вишни, которые вешаются на ёлку всё с теми же коптилками внутри.

Ну вот. От голода и холода тех лет я невольно перешла к весёлым и праздничным воспоминаниям. И правда, мне кажется, что было очень, очень весело все те годы. Может быть, это свойство моего характера, может быть, любые воспоминания детства хороши?

Именно в те годы началась наша семья «папа — мама — Вова — Тася». И стал близким нам папа, отделённый раньше от нас мамой, боннами, прислугой и своей мастерской. И видели мы раньше папу в основном за обедом, и то часто спешащего, нервного, вспыльчивого. Я его побаивалась. Ещё по утрам он мелькал в полутёмной спальне с подусниками (такие металлические зажимы, чтобы усы были колечками кверху) и утром за кофе, который пили мы не очень-то вместе: мама ещё не вставала, а отец уже сидел, закрывшись газетой «Речь», и мы целовали его в свежую щёку, а он спрашивал быстро: «Как дела-делишки?» Теперь мы подросли и, наверное, поэтому стали ближе к нему. Сколько пел он нам в те годы! Какую уйму романсов выучили мы от него, сколько итальянских арий повторяли мы за ним попугаями (через несколько лет Володя пропел что-то из этого репертуара своему соученику — Джиральдони, тот очень позабавился Володиному итальянскому языку). Какого весёлого узнали мы отца. Как учил он меня танцевать пад'эспань. Между печуркой и столом. Оба мы в валенках. Не потому ли именно пад'эспань? Этот танец выходил так смешно и выразительно — в валенках.

Тут надо упомянуть об одной страшной черте папиного характера, которую я поняла, конечно, потом: он всегда веселел в трудные минуты жизни и мрачнел, когда всё

было слава Богу. Может быть, этим и объясняются мои воспоминания тех лет?

Вероятно, именно в эти годы я начала аккомпанировать папе. А может быть, и позже... Кстати, когда свершилась революция, папа положил скрипку на шкаф и сказал, что, пока «всё не придёт в порядок, он не снимет её». Но, слава Богу, клятвы не давал. А вот как я узнала об отречении Николая: не помню, кто сообщил нам это, но помню, что у нас в это время были Кира и Кадя и мы все вчетвером помчались рассказывать про это радостное событие Беляевым. Когда нам открыли дверь, мы, торжественно топая под звуки марша (пу-пу-пу-пу, пу-пу-пу!), по росту вошли в переднюю. И тут я очень удивилась. Что же именно сообщили мальчики дяде Серёже и тёте Оле? Я-то была уверена, что произошло совсем не то: я думала, что папу выбрали в академики (он был тогда представлен, а выбран он так уж никогда и не был), и была очень разочарована.

Что же ещё о столовой? В окно столовой я как-то, совершенно случайно взглянув, увидела, как мачты одного корабля на Неве вдруг описали дугу и полегли, скрывшись за домами. Это произошло с «Народовольцем», белым судном санитарного военного транспорта, мимо которого мы не раз проходили по набережной. Долго лежал он на боку в Неве и ржавел. Видно, не до него было, пока через несколько лет, наконец, не подняли. Тоже была чашушка в те годы, но уже на мотив «Яблочка» (про дрова и осину — пели под чечётку):

*Я на бочке сижу,
А бочка связана,
«Народовольца» поднимать
Да не обязана.*

Теперь я узнала, что у этого судна были три жизни: до революции оно называлось «Океан», я его знала «Народовольцем», а после ремонта его называли «Комсомолец», и прослужило оно ещё долго учебным судном Балтийского флота.

Летом в те годы мы, конечно, расселялись по всей квартире, ставшей огромной и пустой. Я любила переезжать из комнаты в комнату и одно время поселилась даже в людской — мне понравилось, что она такая маленькая. На дачу мы до 24-го года совсем не ездили. Заводы стоят! Воздух прекрасный! Мама уверяла, что и купол Исаакия блестел, как никогда раньше.

Иногда я езжу за город, на дачу к Нине Павлухиной — они продолжают снимать огромные дачи, с балконами и неизбежными вышками (у них всё-таки пятеро детей), — и привожу из этих поездок много полевых цветов. Везу их почти спрессованными в рюкзаке. Дома я превращаю их в букеты, которых хватает на всю нашу квартиру.

Пусто в квартире, чисто, мебели мало (это потом, в 20-е годы, родители накупили много красивых вещей). Окна настежь. В окна, выходящие на Большой, несётся всё одна и та же солдатская песня, то приближаясь, то удаляясь:

«О чём, дева, плачешь? О чём, дева, плачешь?» (это — запевала). А потом грохает хор:

«О чём, дева, плачешь, о чём слезы льёшь?»

А в окно столовой, выходящее в противоположную сторону, льются звуки всё повторяемой пластинки:

*Меня пленил твой голос страстный,
Звучала дивно песнь твоя,
И среди всех в тот день прекрасный
Я замечал одну тебя...*

Это новый жилец, матрос, над Пастуховыми ставит граммофон на окно. Мы можем любоваться через двор роскошной розово-красной трубой граммофона, и все мы давно выучили наизусть слова романса. На другой стороне пластинки хор пел: «Жил-был у бабушки серенький козлик». И это всё. Других пластинок не было.

Пусто в квартире. Пусто на улицах. Петроград обезлюдел. Многие бежали от голода кто куда. Даже среди наших друзей: Бенуа-Шрётеры — в Анапе, Януши — в Боровичах, Фомины — в Можайске, Покровские — в Новочеркасске, Герсевановы тоже уехали куда-то (ах! Герсевановы — самые лучшие ёлки моего детства!). Голода они, может быть, и избежали, но многие из этих семей вернулись к «разбитому корыту», к разорённым гнёздам. Ни квартир, ни вещей... (их пример сыграл немалую роль потом, осенью 41-го года, в моём решении никуда не уезжать).

На пустых улицах города появились необыкновенные нищие. Например, всегда на одном и том же месте, на Большом, стоял наш Параго. Звали мы его так по имени героя романа Локка «Любимый бродяга» (мама прочла нам его летом 16-го года). Он стоит как живой передо мной: в котелке, с чёрными кудрями на лбу, в узком сюртуке, застегнутом сверху донизу, с тонкой протянутой рукой и... Фефиными глазами, глядящими прямо нам в душу... Только нос у него был уточкой.

Вообще нищие «из бывших» была вещь обычная. Отец рассказывал со смехом, что известный инженер Веденеев, работавший тогда с папой на «Волховстрое», жарким летним днём присел на тумбочку в ожидании трамвая, снял с головы свою инженерскую фуражку. И вдруг — бац! В фуражке оказалась монетка — подаяние!

Пожалуй, последним представителем этих нищих «бывших» была памятная всем ленинградцам дама в дверях

филармонии. Это было позже, наверное, в конце 20-х годов. Все её знали! В чёрном, с огромным бюстом, сидела она на низеньком стульчике и пела тонким-тонким дребезжающим голосом. По-французски. Расчёт был верный: люди шли с концерта! А кто, по её мнению, ходил на концерт? Интеллигенты! Их не может не тронуть пение, да ещё по-французски!

Против нашего дома, на остановке трамвая № 5, мы часто видим певца Ершова. Ходит мимо дома писатель Амфитеатров, лохматый. И его дочь, очень черноволосяя девочка. И ещё Петров-Водкин, который в эти годы бывает у нас дома со своей славной женой-француженкой (его парижская модель). Они живут на 19-й линии. Однажды на Пасху, встретив меня на улице у нашего дома, он, к моему конфузу, тут же похристосовался со мной.

Трамваи какое-то время были бесплатными. Долго ли это длилось, не знаю, но я хорошо помню, что ездила до 9-й линии в свою первую школу — Василеостровскую гимназию — даром. А до этого, небось, всегда ходила пешком!

По Большому проспекту ходил пятый номер. Всегда. Родной и вечный. Я говорила: «Мне пять лет, и трамвай номер пять, и этаж пятый, и дом пятьдесят. Как всё хорошо!» С Большого он шёл по 1-й линии, мимо Румянцевского сквера — тоже родного с детства, только называли мы его Соловьёвским садом, — с милыми двумя фонтанами, которые никогда не били и по граниту которых бегали мы без конца по кругу, шурша кленовыми листьями. Потом пятый номер уходил куда-то на Невский. И там шёл всё прямо. Это было его дело. Всё равно он возвращался к нам, на Большой.

После войны, в один из моих приездов, я стояла на Невском у Гостиного и вдруг — что это?! Я увидела «свой» пятый номер — два красных, идущих по Садовой, пересекая Невский!

Как это можно? Пятый номер! Милый, милый, да куда же это ты заехал? Да кто же тебя пустил сюда? Ты ли это?

Я не знала, что можно привязаться и к трамваю.

До какой степени было пусто, да и голодно, в Петрограде, можно судить ещё по одному моему воспоминанию «вне города».

Однажды, году в 20-м, отправились мы за город с ночёвкой такой компанией: Фомины, мы с Володей, Кирилл Беляев и Серёжа Налимов — ужасно симпатичный и весёлый одноклассник Игоря. Мы приехали вечером на станцию Дибуну и заночевали на балконе какой-то пустой дачи. Весь большой посёлок был необитаем. И это в разгар лета! Вторую ночь мы провели в палатке. На обед мы сварили подстреленную Володей... сову! Мне это показалось ничуть не хуже давно забытой курицы. А подстрелил бедную сову Володя из самострела собственной конструкции: помесь арбалета с рогаткой!

Я совершенно не помню в эти годы промтоварных магазинов. Хотя ведь что-то выдавали, видно, по ордерам? Нам повезло: папа работал одно время архитектором на фабрике «Скороход», и вся семья была обута. Мне даже выдали 2 пары ботинок — хромовые и шевровые. Я думаю, во всём «Детском мире» сейчас не знают, что такое шевровые ботинки! А тогда ещё, сгоряча, умели их шить! Между прочим, тогда, на «Скороходе», папа получил свой первый миллион. Я помню, как смеялись мы этому! А потом и миллионы быстро превратились в ничто.

Население города в отношении вещей жило каким-то «натуральным хозяйством». Покупали и продавали друг другу знакомые всё по мере надобности: чашки, кастрюли, одежду, мебель, что у кого было или, наоборот, не было. Это была не спекуляция, а просто необходимость.

В какой-то момент на продуктовых магазинах появились вывески, унылые и одинаковые по всему городу:

«Продукты питания» — без дураков (не было ли это одновременно с НЭПом, с кондитерскими Лора?).

Лето 19-го года — это расцвет нашей дружбы с Колей Пастуховым. Мы играем в саду. Мы ходим с ним вместе в детскую столовую на 1-й линии подле лютеранской церкви. Мы бродим по набережным, и он всё просит петь ему романсы. Я пою один за другим, но он особенно любит:

*Ах, я влюблён в глаза одни,
Я увлекаюсь их игрою,
Как дивно хороши они,
Но чьи они, я не открываю.*

Коля подарил мне колечко и полосатую ленточку. Ленточку я хранила. А колечко мама велела мне сразу же отдать. Я пишу об этом, так как удивительно редко мне что-то запрещали. Лазить по деревьям — пожалуйста. Играть в футбол — пожалуйста. Разъезжать на коньках по всему Васильевскому, как уличный мальчишка, — пожалуйста! Никаких предрассудков. А вот колечко — отдать.

У Пастуховых в 18-м умер отец, и Коля ещё зимой поступил курьером на «Свирьстрой». Мне кажется, он единственный добытчик в семье, хотя он младший. А по вечерам теперь мы ходим в детский клуб на углу 12-й линии и Большого. Ежедневно я захожу за Колей. Он пришёл со службы, но должен ещё пообедать. Кухарка, завидя меня, кричит: «Коля! Нявеста пришла!» — и идёт сервировать ему обед на большом столе с белой скатертью. Коля важный. Но ему ещё предстоит наколоть дрова для печурки, и я, чтобы ускорить дело, колю дрова на деревянном угловом балконе. Потом мы отправляемся в клуб. Когда нас вначале делят на группы, Коля шепчет мне, чтобы я сказала, что мне 12 лет (ему было 12, а мне-то — 11).

Итак, мы с ним вместе в старшей группе. Мы лепим, мы мастерим кукольный театр, очень много поём под роль и играем в саду. Потом нам выдают по стакану жидкого чая без сахара и по узенькому кусочку чёрного хлеба, тонко намазанного повидлом. Для многих этот бутерброд — повод для поступления в клуб.

После чая — лапта, какая-то особая, «американская» (со сложными перебежками). И потом — бегом, бегом домой, т.к. от лапты не оторваться, а час возвращения мне назначен очень строго.

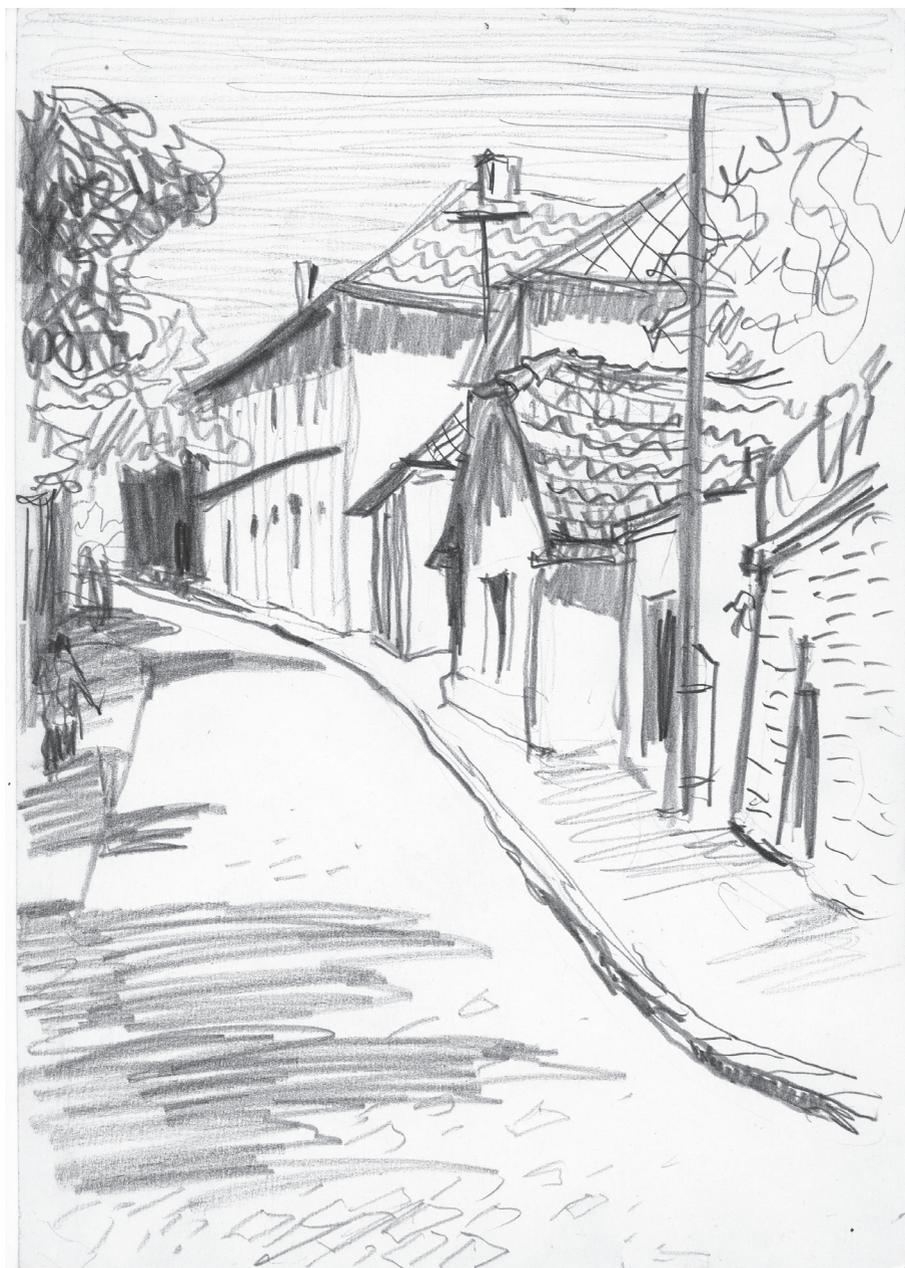
В этом клубе я впервые встретила Женю Кладу и ещё многих детей из морских семей (Старки, Вырубовы, Васильевы). Зато Колю я потеряла.

У нас не было романа с Колей, и не потому, что мне было 11 лет. Я ведь была до этого уже безнадежно влюблена в Васю Добровольского, когда мне было 8 лет. И я прекрасно знала, что такое быть влюблённой. Здесь не было ничего подобного. И всё-таки, хотя романа не было, я помню укол ревности, когда уже под осень, дурачась, Коля подцепил под руку Женю Мельникову и изобразил из себя галантного провожающего кавалера, и вся группа хохотала, а я молча глядела им вслед. Женя была прехорошенькая, но, правда, на полголовы выше Коли.

На следующее лето мы снова играем в нашем саду. У Коли роман с девочкой Мушкой. Красивая, но совсем чужая, даже не из нашего дома! Всюду пишут «Коля + Мушка», «Мушка + Коля». Меня это совершенно не трогает. Не знаю, пела ли она ему романсы — но вот уж дров, наверное, ему не колола.

Потом мы встречались с Колей всё реже и реже. Пастуховы ещё бывали на первых балах нашей юности. Потом и это кончилось.

Мы раскланивались на улице. Он стал очень длинным с покатыми плечами. Ходил в морском кителе. И никогда не улыбался.



«Ужгород». 1966

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Иду по квартире дальше.

Из столовой — коридор, упирающийся в ванную. Справа по коридору первая дверь в каморку. Она запирается на ключ, на котором написана цифра «5». Ключ лежит у мамы в туалете. И брать его можно, но только класть на место. Даже этот ключ с пятёркой приятно вспомнить потому, что в каморке интересно.

Во-первых, там пахнет дивно нафталином, напоминающим весну, переезды на дачу, рогожи, в которые всё упаковывается, — словом, самое счастливое время жизни. В каморке стоит огромный коричневый простой шкаф. Корзина с бельём. Слева полки, на полках, среди каких-то пакетов — две картонные волшебные коробки с ёлочными игрушками. Туда нельзя лазить в течение всего года. И от этого особая радость на Рождество. Игрушки, знакомые, и полузабытые, и особо любимые.

По белым некрашеным полкам, как по лестнице, мы лезем на верх шкафа. Там пыль и стеклянная фрамуга в людскую.

В людской в конце страдных дней стирки прачка Саша, с острым носом и кукишем на затылке, гладит бельё и складывает его на аккуратную, застеленную пикейным одеялом постель горничной Фени.

Мы с Володей как-то в такой день приладили при помощи ниточки и рыболовного крючка выуживать через фрамугу бельё. И наслаждались недоумением прачки!

А стирка производилась тогда очень сложно. Стиралось бельё в специальном помещении «прачечной» нашего дома в дальнем дворе, наполненной сизым паром и запахом

жуковского мыла, со склизким цементным полом. Потом прачка с кухаркой в огромных бельевых корзинах с ручками тащили выжатое бельё на чердак по чёрной лестнице (это получался седьмой этаж, а ведь в доме был лифт...). На чердаке у каждой квартиры своё отделение с замком. Через день из кухни доносился глухой рокот — это бельё катали: р-р-р, р-р-р — специальным деревянным катком и потом лишь гладили чугунными утюгами. А бывали ещё и «духовые» утюги, наполнявшиеся красными углями... с угарным запашком. Да, оценишь теперешние прачечные, как бы они плохо ни гладили...

В каморке было удобно прятаться во время разных игр. Потом я туда одно время отводила с утра своих мишек и кукол — это была школа. И, когда меня посылали: «Пойди поиграй в куклы», я отвечала, что они в школе и делать мне с ними нечего.

Следующая направо дверь в кухню.

В кухне пол простой, сосновый, белоснежно выскобленный во время моего детства. А на потолке — керосиновая лампа! Почему? Вероятно, в 12-м году электричество на кухне казалось неуместным?

Кухня, тоже весёлая — это всё те же большие окна на юг. На кухне нам не полагалось толкаться. Однако тут, у окна, мы всегда чистили с Володиёв нашу обувь. И сравнивали, и хвастались, у кого подошва толще на скороходовских сандалиях, которые покупали нам каждую весну — всё к той же долгожданной даче!

Потом, после революции, жизнь кухни становится нашей жизнью. И таскание воды и дров, и керосинки на плите, и шумящие, воняющие примусы, и неумелое мытьё уже далеко не того белоснежного пола. Что говорить! Через несколько лет, когда у нас снова появляется прислуга — теперь уже в единственном числе, и называется «домработницей», — кухня снова чище и это опять не моё царство.

И огромный белый берёзовый стол снова сияет, и трётся, и скоблится, и не знает, какая судьба ожидает его. Каким печальным и почётным будет его конец.

В кухне дверь чёрного хода запирается на огромный крюк. Лестница, с особыми запахами, и круче, и уже парадной. По этой лестнице дворник приносит дрова, получая от нас в обмен талончик, булочник приносит хлеб (никогда сама не видала, видимо, это происходило рано утром, когда мы ещё спали). А хлеб в те годы в Петербурге был гораздо менее разнообразен, чем теперь. А может быть, в Москве всегда было больше выбора? Тогда же мы ели батоны, французские булки и ржаной круглый хлеб. Был ещё «выборгский крендель» — большой, душистый, с кардамоном; мне кажется, что его ели в Финляндии на даче.

После революции парадные подъезды были долго закрыты, и мы пользовались только чёрным ходом.

В самом низу в 18-м году под лесенкой, ведущей в подвал, поселилась огромная сенбернариха. Со щенками. Звали её Розой, что совершенно не соответствовало, увы, запаху, распространявшемуся от неё по всей лестнице. «Осколок проклятого режима». Все жильцы подкармливали её.

А внизу, у двери, во дворе, был мой последний разговор с Надей Пастуховой. В 1941 году.

Не помню, когда появились у нас снова «домработницы». Но они совсем не походили на прежних горничных, в фартучках и наколках... Отношения сильно демократизировались. Была некая Маша, которая экспромтом прочла у нас на ёлке стихи Некрасова. Она же называла наши простыни и одеяла, складываемые на день, «шмотьями»: «А куда, барыня, ваши шмотья девать?» А про гостей, которые часто бывали у нас тогда (Бенуа, Притвицы, Беляевы), говорила так: «А кто нынче у вас будет? А-а... Тюха с Матюхой да Калупай с братом!»

Потом была одна очаровательная «Машенька с Манечкой». Это были бежавшие от голода с Поволжья мать с дочкой. Матери было не больше двадцати одного года. Она была круглолицая, сероглазая, какая-то до блеска умытая, пахнувшая парным молоком и овчинным тулупом. В первые дни она время от времени таинственно убегала во двор, накинув на себя платок. Просто она никогда не видела фарфоровых достижений цивилизации, пока ей не объяснили, что к чему. И ещё она никогда не говорила «куда». «Куда» было грубо. Она говорила вместо этого: «А далёко ли?» — «Далёко ли эту сковороду? Далёко ли положить этот нож?»

Дочь её, трехлетняя Манечка, была вначале очень плоха. Она сидела на одеяле, на плите, недалеко от топящейся буржуйки и плакала, беспрерывно повторяя: «Балянины... балянины...» (баранины, то есть еды!). Помню, как бросила она сердито кусок сахара — она никогда его раньше не видела!

Очень скоро Манечку поместили не то в больницу, не то в какой-то санаторий (не знаю, возили мама с Машенькой). Там она совершенно оправилась, вернулась к нам здоровой и весёлой и стала нашей общей любимцей. Время от времени приходили письма от мужа, и Машенька начинала рыдать ещё при виде конверта, а за нею, тоже заранее, ревели и Манечка. Но ничего плохого в письмах не было. Прожили они у нас, вероятно, месяцев 8–10. На прощание мама снабдила их, чем могла, из посылки АРА, которую мы тогда получили. Мы долго целовали их. И потеряли. Конечно, навсегда...

В этот год Мария Викторовна Притвиц (которую Манечка звала «Маявикой») пела у нас трогательную французскую песню: «Aitchiguitta». Мы все повторяли её, и даже Машенька распевала припев: «Qui voudrait, qui

voudrait...^{*} — и спрашивала: — А что, во Франции все-все, даже крестьяне, говорят по-французски?»

Ну вот... Кухня окончена. Прямо по коридору — ванная. Прекрасная, большая, изразец с орнаментом (где-то должен же быть отражен стиль дома постройки 1912-го года). Но ванна, конечно, цинковая. С медной колонкой — печной.

^{*} *Qui voudrait, qui voudrait... — (фр.) Который хотел бы...*



«Старый Львов». 1952.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Налево от ванной — детская. Моя первая комната. Окно на север, на Большой проспект. Голубенькие розочки — сверху вниз — на белых обоях. Медный выключатель у двери низко-низко, чтобы мне было удобно зажигать свет.

Живу я тут с Фрушкой, потом с Фрушкой и Вовой. Комната, единственная в квартире, с сырой, холодной стеной брандмауэра. Изредка у стены ставится для подсушки керосиновая лампа, вероятно, вещь малоэффективная. И делается это очень нерегулярно (как всё, что делает моя милая и несовершенная мама!). Но ревматиков из нас не получилось.

Душа комнаты — кафельная печь в правом углу. Зимой после уборки комнаты мне говорят: «Ну, можно уже. Иди в детскую. Окно закрыто». Я вхожу. И сейчас ещё ощущаю этот момент: я — маленькая в проёме двери в передничке особом, с бантами по бокам. Трещит печь, и запах чистоты и горячей бересты смешивается с запахом морозного воздуха. В квартире нашей нигде не было форточек — открывалось большое окно летом и зимой, благодаря какой-то особой мягкой серой прокладке в щели окна. И этим мы тоже гордились! (А новые жильцы, сменившие нас, возмущались и переделывали окна.)

Потом — помню, как топится печь вечером, догорает. Я лежу на животе в своей железной кровати с белой сеткой, подбородком в подушку, слежу за угасающими угольями и слушаю папину скрипку из его мастерской, через закрытые двери спальни и гостиной.

Хорошо! Папа всё повторяет уже знакомые мне вещи. И до сих пор, когда я их слышу, случайно, по радио, я вижу эти уголья. Или вижу, как папа вскидывает голову, переключая подборонок на скрипке. И мне кажется, что звучит где-то папина скрипка.

Между детской и спальней висят наши трапедия и кольяца. У окна туалет Фрушки — простой сосновый столик, обитый мамой и Фрушкой весёлым ситчиком с оборками и складками очень кокетливо, в онегинском стиле.

Фрушка — наша любимая фрейлейн. Как и всё, что было в детстве, кажется, что она была у нас много-много лет. А я ведь помню ещё до неё другую, безымянную, фрейлейн, когда мне было меньше четырёх лет. А ушла от нас Фрушка, когда мне было лет 7. Всего 3–4 года! Звали её Анной Андреевной Томсон. Была она эстонкой, как и многие бонны в Петербурге тех времен. И родом была, кажется, из Пярну. Весёлая, аппетитная, с ямками на розовых щёчках и с белыми крепкими зубами. С золотым медальоном на цепочке — в виде сердечка. Вот вспомнила этот забытый было мною Фрушкин медальон, и снова нахлынула тёплая волна любви к ней... Когда через много лет у меня родился Саша и стал подрастать, я пригласила ту же Фрушку приходить к нам на Средний. Она уже к этому времени вырастила сына Рудю, жила с ним и с мужем, закончила заодно с сыном десятилетнее образование. И скучала. И рада была приходить ко мне. Правда, русский язык она и к этому времени не очень-то усвоила и пела Саше так: «Тра-та-та, тра-та-та, любит кошка свой кота». Но разве в этом дело? Именно тут, на Среднем, я поняла, какой она действительно была очаровательный и неглупый человек, и подумала, что мой хороший, счастливый характер, может быть, получился от детства, проведённого рядом с ней. А она, в свою очередь, сохранила воспоминания

о какой-то, по её мнению, парадной и красивой жизни у нас — и особенно от последнего лета, проведённого с нами на Большом фонтане под Одессой. Лето 1914 года.

А тогда, на Большом, в нашей детской Фрушка пела жалостливую немецкую песню: «Morgen muß ich fort von hier und muss Abschied nehmen...^{*}»

Володя со слезами умолял её не петь это — он не хотел расставаться с ней! До меня не доходил трагизм этой песни. Ещё пела она: «Es zogen drei Burschen wohl über der Rhein...^{**}»

Потом она вязала бесконечные кружева из простых белых ниток. Это было очень интересно. Мы протягивали её нитку вверх, и вниз, и наискосок комнаты, устраивая какие-то блоки, и прицепляли к нитке записочки, которые мы называли «телеграммами». Записочки судорожно, толчками подвигались к своему адресату по мере её работы. Фрушка делала вид, что ничего не видит. Наконец телеграмма у самого крючка. Фрушка неизменно говорит немецкое «О-о-о!» и читает наше очередное объяснение в любви. Полное имя мы ей дали такое: «Фрушка-лягушка, у которой нет ушка, а на щеке чёрная мушка, пушка-душка-подушка!» «Чёрная мушка» — это оттого, что в те времена дамы носили вуалетки на шляпе и на лице — и у неё тоже была вуалетка с чёрной бархатной мушкой. Когда Фрушка ушла от нас, папа порекомендовал её Прониным, там звали её «Ганной».

После революции Фрушка вышла замуж за Ивана Яковлевича Кольца (латыша), так что дома супруги объяснялись на плохом русском языке. Иногда она звала нас, всех своих питомцев, в гости и усаживала за стол, вместо салфеток протягивалось по всем животам нашим длинное посудное полотенце с кружевами. Ведь Прониных-то было четверо! А сына её, Рудю, крестил Володя...

^{*} *Morgen muß ich fort von hier und muss Abschied nehmen... – (нем.) Завтра я должен уйти отсюда и должен проститься...*

^{**} *Es zogen drei Burschen wohl über der Rhein... –(нем.) Три парня переплыли Рейн...*

В детской моя кровать стояла слева, у двери в спальню. Над кроватью прикреплена гравированная таблица: портреты русских царей в овальных рамочках. Как я любила Петра Первого, в латах, с блестящими кудрями! Был там и Лжедмитрий. С бородавкой.

Однажды во время какой-то своей болезни я просыпаюсь ночью: в спальне светло, дверь открыта, и боковая щель у меня перед носом: у туалета, вижу, стоит нарядная мама, в платье из золотистого бархата и мягкого золотистого шёлка, и, мне показалось, куда-то уходит. Я позвала её. Мама заторопилась: «Ах, Фрушка, Фрушка, ну, выдвигайте!» И Фрушка выдвинула из-за изголовья наш детский круглый столик, накрытый специально для меня к Пасхе: маленькая пасха, маленький кулич с сахарным барашком вместо розы, яйца. Оказалось, мама уже вернулась с заутрени из Академии художеств и, обрадовавшись, что я сама проснулась и не надо ждать утра, устроила для меня разговленье. Хорошо было иметь маму без педантичных воспитательных принципов! Подарком мне на эту Пасху была заводная мышка в красном деревянном яйце. А у Володи — в таком же яйце — деревянные солдатики. Скромно по сравнению с тем, что теперь дарят детям! Но, правда, мышка была не пластмассовая и не сломалась на третий день, как это бывает теперь.

Потом, году в 16-м, в этой комнате я занимаюсь с Ниночкой Януш. Кажется, уроки были через день — с учительницей Еленой Адольфовной Эмме — и проходили то у нас, то у Янушей на 19-й линии. Нина была моя первая девочка-друг. Ведь кругом меня были одни мальчишки! Вова, Беяевы, Покровские, Коля... Я любила ружья, пушки, спорт, мячи — но не девчачьи, красно-синие, а футбольные, надутые, и ещё маленькие чёрные «арабчики». Удивительно: как-то раз мне на рождение родители подарили пушку,

заряжавшуюся какими-то пороховыми патронами. Пушку через день... разорвало! И мама пошла в магазин менять. Обменяли.

Но в куклы я тоже играла. У меня были четыре сына, из них три мишки. Средний, любимый, вылинявший добела, был, собственно, Володин. Володя подарил мне только его левую ногу. Ещё четвёртый сын назывался «Володей». Мягкий, с голубыми пуговицами-глазами, с пломбой в одном ухе. Моль несколько поела его нос, и оттуда торчала солома. Но чуть-чуть. И одна была фарфоровая дочь — Мурочка (переодетая из японки). Игра в куклы состояла в том, что я мастерила куклам всё, что не продаётся в магазинах: маленькие ранцы, тетради, учебники, крошечные карандаши и т.д. И устраивала квартиру, похожую на настоящую. Стихийным бедствием бывало посещение полощёров! Всё надо было разрушать и устраивать заново.

Стояла у нас в детской этажерка с книгами. Внизу — игры. Я убираю книги время от времени, аккуратно выстраивая их по росту. Мне это казалось самым главным. И потом, уже замужем, я попыталась так же выстроить наши книги и была заслуженно осмеяна. А ведь и до сих пор я норовлю скомпоновать покрасивее книги на своих полках, хотя бы в пределах тематики.

Самые любимые книги нашего детства были «Том Сойер» (первым номером!), «Гекльберри Финн», «Серебряные коньки», «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля» («молодой», а не «юный», как написал Виктор Некрасов). Особенно нравилось нам, что буры — голландцы, «родственники». Впрочем, война эта бурская была ведь совсем незадолго до моего рождения, и ещё свежи были симпатии всего мира к бурам (до ЮАР было очень далеко!).

Потом была книга «Хруп Зубович» — воспоминания старой крысы. Автора не помню. Чудесная книга, полная

приключений. Потом мои, уже девчачьи: Новицкая «Хорошо жить на свете». Продолжение — «Весёлые будни». А вот третьей книжки у меня не было. Но она была у Миши Хвостова. Я познакомилась с Мишей, когда мне было 17 лет, и выяснилось, что в доме Хвостовых это были тоже любимые книги, и Миша уверял, что я получилась похожей на Мусю, героиню этой трилогии, и звал меня поэтому «идеальчиком». Ещё я забыла Буша. «Макс и Мориц», «Плиш и Плюм», «Воронёнок»! Нет, воронёнок не хорош — он чёрен телом и душой... Это вроде даже и не книга, а нечто любимое мною ещё до моего рождения. Обложки совсем не было, начиналось с ободранных листков. Картинки можно было рассматривать и не читая, и без конца.

Игрушки нашего детства. Железная дорога! Масса рельсов. По воскресеньям соединяем с рельсами Киры и Кади, устраиваем горы, долины, прокладываем дорогу на несколько комнат. Ещё был у нас любимый старый паровозик без «кузова» — одна пружинная машинка с колёсами. Сильная безумно! Тащила двойные составы. Называлась эта штука «козявка». Потом были оловянные цветные солдатики (признаюсь: я в них совсем не играла). Но они были у всех наших мальчишек. Маленькие, гораздо меньше теперешних, все одного масштаба, всех национальностей! Всех родов войск! И продавались они в овальных щепочных коробочках. Мне кажется, что так страстно собирают теперь мальчишки маленькие автомобильчики. А вот автомобилей игрушечных у нас совсем не было, хотя автомобили, «моторы», как их называли, разъезжали уже по улицам.

Была у Володи паровая машина (работала на спиртовке). Привод от неё был к фонтану (работал) и к сбивалке для гоголя-моголя — ничего никогда не сбивалось, заедало!

Были заводные пароходы (с механическим включением поворота в море после выстрела).

Прекрасная яхта. «Конструктор» у Володи был один на всё детство. А для лета были луки, и самодельные, и шикарные, купленные в Гвардейском экономическом обществе (ныне ДЛТ) на Конюшенной. Лакированные, с бархатной серединкой и настоящим оперением на стрелах. А раз был даже небольшой стальной лук, устроенный по принципу рессор, со стальной тетивой! Забытое теперь «диаболо». И сейчас охотно поиграла бы! А играть в него было искусством. Из игр настольных самая любимая и совершенная – военно-морская игра. Неизменно вспоминаю её, когда печально просматриваю в «Доме игрушки» многочисленные покоробившиеся внутри игры, со сложнейшими объяснениями, не вызывающие доверия, несмотря на огромные эффектные коробки.

И ещё не могу не упомянуть одного предмета – неизбежного верного спутника всех наших затей. Предмет этот хранился в каморке, пахнул нафталином и назывался просто «зелёное». Это была старая большая занавеска, немножко дырявая, никому не нужная, кроме нас. Из неё делалось всё: поля сражений для солдатиков, гористые ландшафты для железных дорог; ею занавешивались полутёмные пароходы и поезда из стульев, стаченных со всей квартиры, куда рассаживались в виде пассажиров и мои мишки и откуда бывало всегда жалко вылезать.

Ах, «зелёное», «зелёное»!

У моей комнаты коротенькая жизнь. После революции никто из нашей семьи Мунцев там не жил.

В 18-м году комната была битком набита вещами из квартиры № 11 Винклеров (Юлия Петровна – несимпатичная сестра очаровательной Екатерины Петровны Добровольской). Некоторое время комната так и простояла набитой. Однажды в квартиру нашу пришли красноармейцы с обыском. Просмотрены все комнаты. Пошли по коридору,

и мама сказала: «Ну, вот и всё. А там — ванная». Солдатик повернул обратно. И хорошо сделал! Когда через год-два Юлия Петровна вывозила все свои вещи, среди них, к нашему удивлению, оказалось столько оружия! Шашки. Патроны. Зато то старинное оружие, что теперь висит у Мунцев, было тогда же подарено Юлией Петровной Володе.

Года три прожила в моей комнате тётя Анна, мамина младшая сестра. *Enfant terrible* маминой семьи. Наша любимица, веселившая нас неправдоподобными рассказами о бурных годах Гражданской войны и революции в Одессе. Каждый рассказ заканчивался так: «Не верите? Ей-богу! Честное слово! Спросите Катю!» После упоминания тёти Кати Зориной — абсолютно положительного члена той же маминой семьи — ничего не оставалось делать. Приходилось верить.

Жила у нас и Олечка Зорина, совсем недолго — от приезда в Ленинград до своего замужества. Какое у неё всё было красивое, новенькое, аккуратное! Какие носовые платки с розочками, вышитыми тётей Катей! Как всё было тонко, добротнo и аппетитно. Правда, тётя Катя, собирая в Ленинград Олечку, говорила ей: «Приданого больше не жди. Не будет».

Потом же в этой комнате и в соседней спальне менялись жильцы за жильцами, пока наконец квартира не превратилась в коммунальную (к чему мама до конца нашей жизни на Большом не могла привыкнуть — чувство обиды всё теплилось). Последними осели в двух последних комнатах Сорокины — врачи.

Среди жильцов, которые перебивали у нас до Сорокиных, было много геологов — наверное, от близости к нам «Геолкома»!

Геолог Михайловская, скромная, благообразная, хуленькая дочь писателя Гарина-Михайловского. Молчаливо грела себе что-то на керосинке в кухне. Геолог Николай

Николаевич Соколов, прозванный нами «Помидорчик», весёлый, розовощёкий и общительный. Мама кормила его обедами, но уже у него в комнате. Это, видимо, было ему очень скучно, и он вскоре уехал. Пробегая, бывало, рысцой и бочком через мою комнату, он всегда приговаривал картавя: «А вы, Наталья Оскаровна, всё бумагу пóтите!» (я училась тогда в Художественно-промышленном техникуме).

Потом был геолог Пчелинцев, сбежавший от старой жены со своей молоденькой ученицей Галиной Тимофеевой. Нам было её ужасно жалко. Ей было так скучно с ним, старым, похожим на козла! Она, верно, очень раскаивалась...

Потом пошли студенты Академии художеств. Тихий Медведев с сестрой. Коля Эйсмонт, полужнакомый, и его друг, скульптор Коля Саватеев. Невзрачный, с красным носиком. Но Саватеев был симпатичнее Эйсмонта. Он всё хотел втянуть меня в свою компанию, а я мягко и уклончиво не поддавалась. Саватеева убили на войне.



«Сашок». 1949.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь я перехожу из детской в соседнюю спальню (идя обратно по коридору).

Спальня родителей — две огромных «золотых» кровати. По-моему, некрасивые, но я никогда ни у кого таких не видала. Английские. Бывали ещё никелированные. А таких — никогда!

Рядом с маминной кроватью стоял ореховый ночной столик. Столик как столик. Но... у него были три ножки! А нечётное количество ножек, как известно, — необходимое условие для занятий спиритизмом. Итак, за этим столиком мы сидели в занавешенной Володиной комнате, соединив руки мизинцами с руками Киры и Кади Беляевых, вперившись в блюдце в середине стола. Оно должно было вращаться, были написаны кругом буквы, и т. д., и т. д. Не знаю, где проходила грань между серьёзом и жульничеством. Боюсь, что второе превалировало. В темноте было так удобно пользоваться разными системами чёрных ниток для прыгания стола! У Беляевых был такой же точно столик от нашей общей бабушки Мунц. Но дүхи, вызываемые у них, были темпераментнее наших, и их столик не выдерживал, приходилось его вечно склеивать и связывать.

Потом у мамы стоял типичный для тех времён огромный мраморный умывальник с фарфоровым умывальным прибором, разукрашенный синими модернистскими цветами (где стебли цветов выдрессированы изгибаться под прямым углом). Зачем в квартире с ванной нужно было это заведение? Горничная вносила и выносила воду. Тазы тяжеленные!

Впрочем, в нашей детской тоже стояли кувшины, тазы и скромная клеёчатая табуретка, и мыли нас с ног до головы каждый день в комнате!

На мамин мраморный умывальник маленький Вовочка, когда меня ещё не было на свете, налетел в темноте прямо переносицей. И так плакал! Это рассказывалось много лет, и строились догадки: не потому ли у Володи получился такой маленький нос? Впрочем, о носе Володи: когда он родился, бабушка Мунц воскликнула: «Боже мой! Что же он будет делать в дождик? (Как это звучало по-немецки, не знаю.)»

Из всей обстановки спальни сохранился лишь у Леночки Мунц один из двух английских шкафов. А английские вещи были у нас потому, что у мамы была одна тётушка, Юлия, в Англии, она-то и прислала маме после свадьбы некоторые вещи.

Между окнами стоял туалет красного дерева. Справа и слева — совсем маленькие ящички, куда разрешалось лазить за верёвочками, за ключом от каморки и брать талончик за дрова дворнику. Потом слева и справа — выдвижные ящички побольше. Справа мамин, слева папин. Пахнут они по-разному. У папы аккуратнее, пахнет конфетками от кашля «Вальда» (зелёные, круглые, с ямкой). Щётка. Зажимы для усов. Крючок для ботинок. Щипчики для ногтей. У мамы в ящичке кавардак: полисуары для ногтей, какой-то розовый камень — им натирают полисуар, чтобы ногти блестели (камень этот мучительно похож на рахат-лукум). Пудреница с пуховкой, россыпи шпилек и невидимок. Всё пахнет просыпанной пудрой. Остальные ящички, большие, все запираются на ключ. Правда, ключи лежат тут же, наверху. Странно теперь: ведь мы совершенно перестали что-либо запиравать! А тогда вот запирали... и папин письменный стол тоже запирался...

Основа спальни, золотые кровати, переезжали по всей

нашей квартире: я помню их впоследствии и в гостиной, и в мастерской, и чуть ли не в столовой.

Пожалуй, мы любили переставлять мебель. Кто-то из детей женится, разводится или просто так, для обновления жизни, — всё переезжало! Дружно и вдохновенно тащили мы из комнаты в комнату вещи. Под царапающиеся ножки подпихивались зелёные коврики, чтобы не портить пол. Все радовались новому устройству.

Но не надо думать, что в нашем доме неизменно царили мир и тишина. Очень легко вспыхивали ссоры, шумные, хотя и быстро пронесившиеся, как весенние ливни. Все были вспыльчивы: и папа, и мама, и Володя. Все — кроме меня. За что я и заслужила от Володи такую характеристику: «У Тази нервы — дюйм в поперечнике!» А то ещё была такая форма полуссор: за обеденным столом отец вдруг молча вскакивает, швыряет салфетку, вылетает в соседнюю комнату и захлопывает за собой дверь. В столовой — тишина. Через минуту так же быстро отец возвращается, заправляет за воротничок салфетку, и обед продолжается как ни в чём не бывало. Причина вспышки не выясняется.

Если же ссорились родители между собой, как страдал Володя! То же бывало с ним, если кто-нибудь из членов семьи опаздывал домой. Володя смотрел с тоской в окна. Открывал дверь на лестницу, потом сбегал, раздетый, вниз и стоял у ворот. А я преспокойно занималась своим делом — «дюйм в поперечнике»!

Когда я была маленькая, я говорила: «Папа может сердиться на маму, мама — на Фрушку, Фрушка — на Вову, а Вова — на меня. А мне на кого же сердиться? Мишку, что ли, посадить перед собой и сердиться на него?»

Но возвращаюсь в спальню. Я не помню, чтобы я жила подолгу в этой комнате, и всё-таки запечатлелась в памяти одна сцена, именно там.

В нашем детстве были бойскауты. Все были этим увлечены. Спорт! Природа! Палатки! Форма! И Володя очень хотел вступить в бойскауты, а папа был решительно против. Что-то претило ему ужасно в этой организации. Наверное, именно «организация». Но все товарищи были уже скаутами! И наконец папа согласился. Повезли Володю покупать форму. Зимнюю. Защитного цвета сукно, погончики, пилотка, куча карманов и обмотки на ногах. И треугольный галстук: были жёлтые и синие галстуки, как-то по отрядам. Не знаю, какая разница, но Володя был синим. Я уже легла спать, когда вернулись «из города» мама с Володей и ему разрешили зажечь свет, чтобы показаться мне. Он стоял на фоне печки, подняв как-то от смущения плечи, и от него исходило такое сияние счастья, какое возможно было, по моему, только на Володином лице с его удивительными глазами.

Забегая вперед, скажу, что потом Володя разочаровался в бойскаутизме. Он сказал как-то: «Туда поступают только ради формы». Больше он не распространялся, но было ясно, что какие-то его идеалы рухнули. Распространяться на такие темы было не в его духе. Ни в детстве, ни потом.

А поначалу всё казалось таким интересным и мне, конечно, тоже; и я мечтала, как я потом поступлю в «птенчики» (маленькие бойскауты назывались «волчатами», а девочки, гёрлскауты, — «птенчиками»). Но этого «потом» не настало. Имя Баден-Пауля до сих пор звучит для меня волнующе: мне казалось тогда, что это был какой-то самый главный, чудесный скаут! А теперь я прочла у Ларуса, что Баден-Пауль был просто английским генералом, создателем бойскаутизма во всех странах. Скауты должны были всё уметь, что умеют теперь туристы: ставить палатки, разводить костёр (конечно, под дождём желательно)

и готовить. Володя должен быть сдавать экзамен «на повара». И зубрил, как готовят рыбу. И я зубрила за ним: что надо делать раньше — потрошить, чистить или мыть рыбу и т.д. Чисто теоретически! Ещё у бойскаутов была какая-то возня с узелками на галстук: развязать на ночь узелок можно было, лишь если ты совершил какое-нибудь доброе дело за день. И ещё был девиз: «Будь готов!» — «Всегда готов». Мама со свойственным ей юмором находила очень удачным отвечать «всегда готов» в момент, когда размотались дурацкие обмотки на ногах.

Мне сейчас очень просто вспомнить, кто же из наших друзей был скаутом? Да все! И Славу, и Всеволода Покровского, и Беляевых, и Пастуховых — всех мальчиков вижу я одетыми в защитную форму, а особенно хорошо выглядят в воспоминании все эти милые лица из-под летних шляп типа ковбойских, с раздвижным ремешком под подбородком.

А если говорить о том, как мы все одевались в детстве, до «скаутизма», то все всегда носили матроски! Летние, зимние, тельняшки, шапки и матросские пальто. Вот только меня так не одевали; но пальто и я, конечно, донашивала после Володи, наслаждаясь золотыми пуговицами с якорями. А уж после революции я долго донашивала всё Володино: и какие-то синие куртки-косоворотки, с резиночкой внизу, и ночные рубашки, и лифчики, и всё, что ещё не изодралось. И даже кепку!

На ногах у нас летом сандалии. Зимой — ботинки (называли мы их «сапогами»). Чёрные. Сначала с пуговицами, а потом с крючками для шнурков. В подмётках наших всегда понатыканы кнопки. По ним можно было безошибочно определить профессию нашего отца.

На сапоги надевались калоши или чёрные суконные ботики. С защёлкой, железной, впереди. Симпатично так щёлкала!

А вот в совсем раннем, туманном детстве мы носили синие шерстяные пелерины с капюшоном, подбитым чем-то красным. Именно в такой пелерине выступала я впервые в маминой пьесе «Лесные человечки». Было мне полтора года. Я играла брусничку.

Ещё в спальняной комнате прошла моя скарлатина. «Весёлая скарлатина» — как увековечила её мама в стихах:

*Хоть жар не выше нормы,
Но вся картина
Ясна,
Что в легкой форме
Тут — скарлатина.*

Было это, видимо, перед самой революцией, так как мама читала мне вслух речи Милюкова, Родзянки, Пуришкевича. Я слушала «по дружбе», так как никакого интереса это у меня не вызывало. Жили мы во всей квартире одни с мамой и 2 прислуги. Тут я получила свою маму сполна! Не знаю, сучала ли мама в таком пленении, но я как сыр в масле каталась. Чтение, чтение, рисование, клеение. Даже шитьё кукле Мурочке какого-то изысканного кружевного белья. Из-за этого шитья моё старенькое тигровое одеяло было подобно костистому лещу от потерянных в нём иголок. То тут кольнёт, то там... Володя жил тогда не помню у кого, а папа — у Бенуа (отчего и получил какой-то интересный заказ). Изредка папа приходил к нам под окна, и мы махали друг другу и посылали поцелуи. Мама всё время была очень весёлой и неиссякаемо интересной для меня.

А из кухни по вечерам доносилось пение прислуги, что мама всегда любила: не из интереса к фольклору, а как признак хорошего настроения, царящего на кухне. Итак, скарлатина моя была всем по душе. Только во время

дезинфекции, когда пахло формалином и слезились у нас глаза, сожгли всё-всё, что я наклеила и намастерила и что нельзя было прокипятить. Тогда, ко дню рождения, был подарен маленький самовар. Медный. Перед тем как его купить, мама долго звонила по телефону по магазинам: «Есть у вас детские никелированные самовары?» Наконец я сказала: «Да ладно уж, мама, ну купи мне килерованный».

Сейчас вспомнила, что ведь первым после родителей поселился в спальне мамин брат, дядя Женья с женой — тётей Марусей. Незадолго до этого они приехали из Владивостока, где дядя Женья, кажется, служил бухгалтером. Он был очень тощий, симпатичный, в пенсне. Тётя Маруся — красавица украинка, с серыми глазами и хлопающими непонимающими ресницами. По весу — вдвое больше дяди Жени. Брови рисованные, «пиявками». И тогда же — это, видимо, была зима 17–18-го года — в детской комнате живут Хованские.

Это Настенька, тёти Марусина сестра, с двумя хорошенькими детьми — Олей и Юрой. Настенькин муж — казачий офицер, князь, совсем, видимо, обнищавший. Видела его я только раз. Красивый, маленький. Что случилось с ним, не знаю. Сама Настенька умерла от тифа, когда они все жили уже не у нас. После её смерти сразу пришли в её комнату какие-то солдаты. Быстро всё переворошили и, сказав: «Что же княгиня-то нищая?» — разочарованные, ушли.

Потом умер скоро и дядя Женья. Не знаю, у себя ли умер или в больнице? Только мама была при этом. Отпевали его на Смоленском кладбище. Это были мои первые похороны, первый покойник, первый чистый восковой лоб, от которого нельзя оторваться — всё смотришь...

Тётю Марусю мама устроила вскоре заведовать хозяйством в нашу школу, «к Маю», где она (прекрасная хозяйка!) была очень к месту; жила она там же и вырастила сирот Хованских.

В ту зиму, 17–18-го года, я поступила в 1-й класс Василеостровской гимназии. Гимназия эта была «ведомства императрицы Марии Федоровны», и я могла учиться там даром, так как отец преподавал в Ксеньевском институте (кажется, перспективу). И это решило дело.

Вот этот год — даже в воспоминаниях моих — невесёлый. Дома или совсем нет электричества, или дают его только вечером. Правда, некоторое время можно сладостно предаваться безделью, после чего неизменно лёгкое разочарование, когда вспыхивает свет и надо садиться за уроки...

Школу свою я не любила, но не думала об этом тогда, т. к. не знала, как можно любить свою школу.

Училась неважно (по двенадцатибалльной системе умудрялась получать за диктовки «5»). Но меня это совершенно не трогало — ни тем более моих родителей.

Спорта — никакого! Одни девочки... даже на перемене нельзя было побегать!

По утрам вся гимназия парами текла по коридорам и лестницам в актовъй зал и выстаивалась на молитву по классам. Впереди маленькие. Сначала делали ещё всем залом, разом, реверанс нашей директорисе. Она стояла, синяя, корсетная, с мутными глазами, и мягко дирижировала двумя руками: р-раз! Пока не выйдет. А кто же читал молитву? Кажется, старшая гимназистка? Между окнами перед нами висел большой образ, похожий на картину. В этом же зале проходили и уроки пения (ах вы, сени, мои сени...), и уроки танцев. Танцевали па-де-патинёр, помпадур, па-де-зефир. Это мне нравилось.

В классе во время урока всегда присутствовала классная дама, хорошенькая голубоглазая Мария Владимировна. Сидела сбоку, за отдельным столиком, что-то писала и делала круглые глаза, если кто-нибудь разговаривал. Были разные славные девочки: Зайка Измайлова, дочь

священника, первая ученица; Муся Столбовская, хорошенькая; Иришка Карсавина, племянница балерины, дочь историка, кажется. Жили Карсавины на набережной, подле университета, — громадная квартира на первом этаже. Я была у неё раз на большом празднике. К ужину был подан чёрный хлеб — стоял нарезанный на тарелке, и можно было брать сколько хочешь! Это меня поразило. И ещё играли так: в дверях было подвешено яблоко на нитке за хвостик. Все дети подходили по очереди и пытались его откусить без помощи рук. Никому не удавалось, а после каждого гостя бонна мыла яблоко!

В альбом для стихов (у всех девочек был непременно такой альбом) Иришка написала мне чьи-то стихи:

*В облетающих аллеях
вечернего сада
Шорох, шелест листопада,
Шёпот листьев облетевших.
В сетку веток поредевших
Облетающего сада
Смотрит хмуро неба просинь,
Слышен шорох листопада,
Слышен шёпот: осень, осень...*

Написано было жирным, мелким, кривым почерком. Карсавины вскоре уехали за границу. Эта девочка, мне казалось, похожа была на тётку (но потом я поняла, что она похожа на Павлову с рисунка Серова, а вовсе не на Карсавину).

На следующий год началось обучение в школах вместе с мальчиками. И меня перевели в 1-е реальное училище. Когда прочли моё имя в списке переводящихся, я плакала. А потом я очень полюбила это 1-е реальное училище.

Несмотря на казённое здание, в котором оно помещалось, всё училище оказалось гораздо менее казённым, чем моя первая гимназия. Находилось оно на углу 12-й линии и Большой (по левой стороне, если идти от 1-й линии). Был у нас уютный класс с приятными особыми лампами, с деревьями перед окнами на Большой. С отдельным небольшим рекреационным залом (для каждого класса свой зал, обшитый деревом). Там на переменах мы неутомимо от звонка до звонка играли в футбол. Причём я была бесшумным голкипером среди мальчишек. Очень мне это давалось. Кроме меня, конечно, ни одна девочка с нами не играла.

Но дружила я там с очень милой стриженной маленькой Алисой Мадер, дочерью живописца. Она как-то рассказала мне с гордостью, что отец её кончил Академию художеств в один год с моим и в списке окончивших, напечатанном в газете, их фамилии стояли рядом: Мадер, Мунц... Он сохранил эту газету. Но при этом — и мне это тогда показалось очень жалостливым — она попросила задержать у себя книгу сказок, которую я ей дала почитать, так как её отец хочет срисовать там одну картинку. Даже помню какую — танцующую русалочку Андерсена!

Была ещё девочка Фролова — дочь гробовщика, вернее, хозяина похоронного бюро. Иногда я ходила играть к ней в сад, всё там же, напротив, по Большому, сад за глухим забором. Масса стружек и гробов! И большая низкопробная библиотека с замызганными книгами. Как-то я принесла домой от неё книжку «Евгения, или Тайны французского двора». Папа начал читать её тоже. Однако, когда я заметила, что чтение это совсем не для папы (в романе начались какие-то альковные дела), я быстренько дочитала и отнесла её в гробовую мастерскую, подальше от греха. Папа только удивился, как быстро я читаю.

Мальчиков было много хороших (между прочим, это был случайно класс Коли Пастухова, но он тогда уже служил). Был славный кудрявый Женя Тенягин, который, развернув на русском хрестоматию, заявил учителю: «Леонид Николаевич! А Пушкин-то на меня похож!» Тахванов — маленький реалистик в чёрной шинели — галантно носил мне домой огромную картонку с костюмом Розы, когда я готовилась к выступлению на вечере. И, шлёпнувшись на льду, от страха повредить что-нибудь лежал на спине, поставив картонку на живот. Так и вижу его!

Был ко мне равнодушен тоненький поэтический блондин Лилиенфельд. Никаких объяснений, конечно. Только он как-то раз из-за меня совсем не прикрепился к детской столовой — всё хотел вместе. И мама его ругала.

По четвергам мы совсем не учились — на французский манер. Пели в тот год очень много, и появился уже новый революционный репертуар:

*Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куём мы счастья ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильнее стучи, стучи, стучи!*

Художественные выступления были так часты и обычны, что я как-то, участвуя в хоре на эстраде, по рассеянности стала хлопать вместе с публикой, пока меня соседи не одёрнули. А один был большой вечер, где я пела соло и ту самую Розу, и «птичку» и ещё декламировала «Братьев-разбойников» Пушкина целиком! Выучила я эти стихи сама раньше, из любви к искусству. Словом, на этом вечере я «фигуряла», как теперь говорят, но, честное слово, не помню чувства зазнайства.

Обедать мы отправлялись в большую столовую. У каждого класса — свой стол. Дежурный огромной поварёшкой разливает суп. Всю зиму один и тот же — морковный. А на кухне мы по очереди дежурили, и мы, маленькие, попав на кухню, стоим перед огромным чаном и чистим морковь! Видимо, училищу повезло с запасом моркови. Ведь это была зима 18–19-го года!

Что-то было, теперь я вижу, удивительно симпатичное в этой школе и от старого уклада училища, каких-то традиций, тёплых печек, хороших учителей, из которых некоторые ещё носили форменные мундиры с золотыми пуговицами (например, географ, по прозвищу Носорог). И в то же время появление разных новых «свобод».

Как я училась, не помню. Видимо, не совсем плохо, так как сердитый наш математик Пал-Платоныч радовался моим толковым ответам. По программе, я думаю, была совсем сбита — что-то в одной школе ещё не проходили, в другой давно прошли.

И вот для перехода в следующий класс надо было сдавать зачёты. Когда дело дошло до русского, маленький курносый Троицкий (не наш учитель) спросил меня, какие я знаю спряжения. Я ничего не знала. Сколько есть склонений? Я тоже не знала. В классе мы были почти одни. Окна были раскрыты — за окнами была весна, и мои одноклассники, слышно было, играли во что-то очень интересное. Тогда Троицкий сказал мне прочесть стихотворение. Прочла. Ещё какое-нибудь. Прочла. Ещё... Он сидел, подперев нос, и смотрел вдаль. И поставил мне зачёт. Это было явно новое веяние.

На следующий год я перешла в гимназию Мая. Странно мне теперь, что без огорчения рассталась с 1-м реальным училищем. Но ведь учиться «у Мая», с Володей, было моей

заветной мечтой с раннего детства. Я говорила: «Оденусь мальчиком и поступлю к Маю».

А вышло, как с Колей: когда я поступила к Маю, Володя поступил на свою первую службу, на «Свирьстрой». И школу кончал экстерном. «Свирьстрой» был в самом зачаточном состоянии: вся архитектурная мастерская помещалась просто в квартире Ал. Ив. Дмитриева, на 3-й линии. А Володя — мы смеялись, — несмотря на свою должность чертёжника, приходя на службу, первым делом затапливал печи. Тогда нас это сместило. А теперь это не кажется смешным.



Портрет Лены Муц. 1951.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дальше после спальни идёт гостиная. Она приходится против столовой. Гостиная — красивая комната и связана, естественно, с самыми весёлыми и парадными днями нашей жизни на Большом.

Эта комната всегда синяя. Сначала сине-зелёные обои в полосочку, потом, когда все увлекались матовыми обоями, она сине-серая.

В гостиной балкон в эркере, не простой, а французский, чего я сама больше ни у кого не встречала, — это большая балконная дверь и решётка в самой двери. Справа и слева под углом — узкие окошечки. Пугливые новые гости робко приближаются к решётке, вытянув шею и выставив на всякий случай одну ногу вперёд. Мы же часами болтаем, облокотившись на холодное железо. Вот тут-то шумят наши тополя. Внизу идут игры в саду. Тут поджидаем мы и своих, и гостей. И — в каких-то случаях — спускаем на ниточке ключ приходящим (может быть, это ключ от запертой годами парадной двери внизу?).

На горизонте, чуть влево, в ветреную погоду видны волны — барашки Финского залива. А в ясную погоду виден силуэт Кронштадтского собора (теперь уже, наверное, всё это застроилось).

В гостиной — большое зеркало в золотой раме. Во времена нашего детства — никакой особой мебели, вернее, всё то, что переехало потом в мою девичью комнату: рояль, диван с креслами, ломберный столик. Над роялем — большая картина Кардовского «Амазонки»: страшно темно, ничего не разобрать.

На диване, всё том же, тогда довольно ободранном, под лампой бра и двумя акварелями Альберта Бенуа мы проводили часто вечера, слушая мамино чтение по-французски.

Мама, Вова и я сидим, все уютно прижавшись друг к другу. Дверь в мастерскую прикрыта, чтобы не мешать папе. Мама читает нам терпеливо по такой системе: каждую фразу по-французски, потом по-русски, потом снова по-французски. Я слушаю, рассматривая амазонок. И особенно мучает меня в этой картине внизу справа белое пятнышко облупившейся краски, похожее по форме на маленький далёкий парус. Я понимаю, что это не парус, — а хочется! Так, понемногу, французский оттесняет немецкий моего детства, пока совсем не вытеснил его. Немецкий мама тоже, конечно, знает, но... папа находит, что у мамы плохое произношение. Мама страшно обидчива. И хотя и уверяет, что произношение по-немецки не нужно, — да и нет его вообще! произношение надо только по-французски, — но от обиды никогда не говорит с нами ни слова по-немецки. Так он и забылся.

А читает мама нам классические книжки из «Bibliothèque Rose», где на гравюрах девочки в кринолинах с панталончиками. Самое странное, что плохие девочки, проказницы, тоже в кринолинчиках, только растрёпанные. Ещё на этом диване мама читала нам «Ундину» Жуковского с прелестными иллюстрациями английского художника Реггама. Очень поэтично. И стихи, и рисунки.

У балкона справа стоит мамин письменный столик. Изящный, ореховый, на гнутых ножках, с откидной доской. Поворачиваешь ключ, открываешь его — внутри зелёное сукно и острый запах антоновских яблок. Там стоит голубая кожаная шкатулка с сюртучным прибором: голубые шарики сургуча, печатка, тигелёчек с деревянной ручкой (растопливать шарики) и спиртовка. Вот от неё-то и запах яблок.

В верхних ящиках — фотографии, толстые, блестящие, много раз пересмотренные и знакомые, в нижних — письма с длинным готическим почерком моей бабушки (почерк, унаследованный всеми её дочерьми). В ящичке с секретом — мамин драгоценности и самое интересное — мамин револьвер, с перламутровой ручкой и аппетитным барабаном. После революции Володя с Игорем Фоминым закопали его где-то. Потом через какое-то время попытались откопать — но ничего не вышло! Ещё в нашем доме были пугач и папина охотничья двустволка. Куда она потом делась, не знаю, но помню рассказы о том, как на даче в Павлове (вверх по Неве), где наша семья жила с Покровскими ещё до моего рождения, мама героически стреляла из неё ночью в сад, когда кто-то лез через забор. Наутро оказалось, что мнимый грабитель, движимый романтическим чувством к нашей кухарке, потерял со страху в саду казённую фуражку. Мама вернула её сконфуженному кавалеру с назидательной нотацией.

В гостиной — музыка. Я не помню в те времена папиного пенья с аккомпанементом, хотя пел он много, обычно у себя в мастерской. А тут он играет на скрипке. Ноты папа ставит на высокий вертящийся (с тихим писком) пюпитр чёрного дерева. Изредка аккомпанирует ему мама, но это плохо идёт: родители тут же начинают ссориться. И, надо признаться, мама не блещет музыкальностью и туше у мамы жёсткое. Главная пианистка — тётя Сонечка Любовская, красавица и любимица нашей семьи. У тётя Сонечки — серая, тоже красавица — борзая Бьютти. И брат — хромой медик в студенческом мундире. Все они канули куда-то после революции, а фотографии её остались... Ещё играет и аккомпанирует папе тётя Loulou — Елизавета Васильевна Афанасьева, дочь одесского генерала. Loulou — фибза и ломака, но красива. Очень капризничает за роялем: папа смеётся, норовит проткнуть её смычком.

Мама иногда мелодекламирует «Умирающего лебедя» под музыку Сен-Санса. Скрипка и рояль.

*Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится печальная...*

Мне нравится. Мама хорошо читает. И ещё иногда мама читает стихи неизвестного мне автора:

*Что за ночь, что за тишь.
В светлом блеске луны
По росистой траве
Бродят юные сны...*

Эти стихи мама повторяла и потом, и связаны они у меня с Сиверской, с летом 1924 года, когда так много пало звёзд... А мне было 16 лет.

Меня тоже как-то ставят прочесть стихи. Вот это было в день маминого рождения, когда ей исполнилось 37 лет, я это запомнила потому, что я сообщила гостям, что маме 73. Я стою на кресле — животом к спинке кресла — и, как с кафедры, декламирую:

*– Двадцать лет живу на свете, –
Сам себе Ахмет сказал, –
И ещё не побывал
Никогда на минарете.
И немедленно Ахмет
Влез на стройный минарет.*

Дальше не помню. Но, когда я дошла до описания того, что Ахмет видит вдали «люди, звери и скоты», я шикарным жестом обвела всех гостей. Гости повеселились.

Кто же бывал у родителей тогда? Покровские, Беляевы, Николаевы. Екатерина Леонтьевна Бенуа (тогда Шрётер, а может быть, Грибоедова?). Пожалуй, она бывала позже. Иногда бывал архитектор, граф Сюзор, председатель Общества архитекторов, хороший оратор и организатор. Но постройку, увы, я лично помню лишь одну — дом Зингера на Невском (теперь Дом книги, с глобусом наверху). После революции у нас бывал сын его, высоченный Владимир Павлович Сюзор, поклонник Оли Константинович.

Герсевановы. Он путеец (известный мостовик, наконец, не архитектор). Милая жена Вера Даниловна. И Миша. Это семья особая. Познакомились мы с ними через наших бонн ещё в году 10–11-м. Жили они на углу 12-й линии и Большого, в том доме, где позднее был детский клуб, о котором я писала. И в доме их бывали самые чудные, самые большие и парадные ёлки. Миша был по возрасту между мной и Володей. В детской у него была огромная лодка на качалке, куда были свалены горой все его мягкие игрушки. После революции Герсевановы переехали в Москву.

А наши скромные родные ёлки зажигались тут, в гостиной, много-много лет подряд. Украшали мы с папой. Мама не допускалась — отец уверял, что мама прицепляет свечи, да и всё остальное, недопустимо близко к концу ветки и ветка гнётся. А уж свеча не вертикальная была позором. Покупал ёлку тоже папа с нами, на 6-й линии — между Андреевским рынком и аптекой Пеля. Ёлки там стояли настоящим лесом, потому что все они были, конечно, с деревянными готовыми крестами. Папа долго и придирчиво выбирал ёлку «нашего» фасона, стройную.

Новые игрушки прибавлялись редко, и мы их не очень-то одобряли. До сих пор у Ляли Мунц есть несколько игрушек — моих ровесников, если не старше меня. Под звездой, наверху, традиционно прицеплялся хвостом

с проволочкой зелёный дятел. Было гораздо меньше, чем теперь, стекла и шаров (хотя были стеклянные бусы!). А главное, было много хороших картонажей, которые теперь совсем не продаются. Кондор. Зубр. Орёл. Золотой осёл, полусгоревший на знаменитой вращающейся ёлке, устроенной молодыми нашими родителями и кончившейся небольшим пожаром. Это было ещё в квартире дома Шпринга, где я родилась. На нашей ёлке ещё бывали бонбоньерки с конфетками, были хлопушки, которые и хлопали (пахли порохом), и содержали в себе сюрпризы: дешёвые колечки, костюмы из папиросной бумаги. Полусгоревший золотой осёл... ветеран! Ах, как мы придерживались традиций! И казалось, они вековые! А ведь возрастом этих традиций был всё тот же наш щенячий возраст! Я не помню, чтобы родители говорили: «Так делалось в нашем доме в детстве» (хотя теперь я думаю, так и было что-то у папы в доме). Но о ёлках в мамином доме я многое знала. Знала, что дедушка, мамин отец Лев Максимович, очень любил дарить подарки. А одних детей было 9 человек! И дедушке не хватало всегда места на ёлке, чтобы повесить все подарки, поэтому он отрезал мешающие ему ветки, а m-me Sterlin, гувернантка, кричала: «Caches, donc, les ciseaux de M. le docteur!»*

У нас подарки клались под ёлку, нас прогоняли. Свечи зажигались без нас. И, когда в сочельник раскрывалась дверь из столовой в гостиную, ёлка тихо сияла вся в свечах, и только бенгальские огни слегка потрескивали. А мы, зачарованные, медленно входили, не отрывая глаз от долгожданного, хоть и всегда одинакового зрелища.

На тех нескольких ёлках, которые я устраивала внукам здесь, уже в Москве, я старалась повторить ту ёлку нашего детства — включая орехи и пряники на подносе.

В сочельник были только свои, домашние. Все получали подарки. Как полагалось тогда, я преподносила папе

* *Caches, donc, les ciseaux de M. le docteur!* – (фр.) *Спрячьте, наконец, ножницы доктора!*

и маме переписанные стихи, немецкие или французские, на листочке, вырванном из тетради в косую линейку, и, уставившись в огонёк свечи, читала их наизусть. Гостей приглашали 25-го, 26-го, и мы ходили к нашим друзьям.

Запомнилась мне одна наша ёлка: под деревом стояла новая парта для меня! У Володи давно была своя, а вот мне, наконец, подарили! Пахла она внутри восхитительно — и сосной, и лаком, — долго пахла! И в ней лежала толстущая «Золотая книга сказок» издательства Вольфа с цветными картинками.

Один раз мне купили гладенькую ёлку для моих кукол. Всё, казалось бы, было хорошо. Украсили. Зажгли. Но мне было не по себе! Как можно, чтобы были две ёлки в одном доме? Два Бога? Нет, чего-то тут большие недопоняли. А теперь у нас ёлки на улицах, ёлки во всех магазинах, в витринах, в детских садах... Разве можно испытывать то, что испытывали мы? Правда, и мы ходили на Рождество к Беляевым, Покровским. Но это были их «божества». И всегда совершенно не похожие на наше: какие-то разляпистые или поставленные в угол (как можно?), с чужими игрушками.

Только ёлка у Герсевановых была непревзойдённой... К ёлке им присылали с Кавказа особенные леденцы, золотисто-прозрачные, и всё огромное дерево переливалось золотом. Было шумно, весело, играла музыка. Вера Даниловна всё время что-то затевала весёлое. Я не помню совершенно своего отношения к танцам в те времена. Никогда не училась танцевать. Но плясала не задумываясь. И вот однажды у Герсевановых я танцевала с каким-то взрослым дядей. Возвращаясь домой, уже в лифте, мама сказала мне: «А знаешь ты, что танцевала с князем?» Я подумала и спросила: «А он что, дома сидит на троне?»

Ещё помню, как один раз Вера Даниловна сняла мне с ёлки такой вот длинный леденец и сказала, что это

волшебный карандаш: если один конец взять в рот, а другой поставить на бумагу, он сам начнёт писать. Я вежливо, но криво улыбнулась, давая понять, что я не маленькая и прекрасно понимаю шутки (а было мне 4 года, мы ещё не жили на Большом). Утром одна в детской комнате я залезла коленками на стул, взяла бумагу и с мыслью, которую теперь я выразила бы так: «А попробую-ка! Меня же не убудет», — попробовала. Ничего не вышло.

Через много лет — у меня уже был Сашенька — я остро вспоминала то утро и снова пережила ожидание чуда, очень мало рассчитывая на него. Но чудо свершилось! А дело было вот как: я купила в лавочке, на Среднем, дешёвенькую круглую коробку конфет. Выбрала я её потому, что у неё была странная, хоть и некрасивая крышка, похожая на маленькую патефонную пластинку. Принесла домой, потрогала. Похожа! Я отломила бортик, провертела дырку посередине и с той же точно мыслью: «А попробую-ка, меня не убудет», — завела патефон... и он заиграл! Прелестный маленький вальс-бостон. А в конце пластинки была реклама: «Покупайте кондитерские изделия фабрики такой-то». Свершилось то, чего я прождала двадцать восемь лет!

После Крещения ёлку разбирали. Шары укладывались в вату, игрушки — в коробки. В гостиной становилось снова светло и просторно. Мне выдавался столовый нож, и я, ползая на коленках, соскабливала с паркета разноцветный стеарин — последние воспоминания о Рождестве. Прощайте, праздники! Теперь до Пасхи...

А впрочем, нет! Ведь была в году ещё одна весёлая для нас неделя: вербная! Когда в городе устраивались вербные базары и когда Петербург наполнялся вейками — это чухонцы приезжали на своих маленьких лохматых лошадках, запряжённых в сани. Дуги были украшены пёстрыми

лентами анилиновых цветов и увешаны колокольцами. Последний раз я ехала на вейке с тётёй Олей Беляевой. На нас наехал сзади извозчик — голова большой настоящей лошади просунулась между мной и тётёй Олей. Помню крики: «Пр-р», «Но-о-о», «Тпр-р-р». А когда все разобрались и мы поехали дальше, наш возница, со свойственной чухонцам невозмутимостью, не оборачиваясь, спросил: «А что, девчонку-то... потеряли?»

Вербные базары были, наверное, по всему городу, но я запомнила подле Академии художеств, на Малой Конюшенной и на Конногвардейском бульваре.

Продавали всё что угодно. Всё дёшево, пёстро и весело. Воздушные шарики, тётчины языки. Любимые чёртики. Сделаны чёртики были из проволоки, обмотанной пёстрой синелью. С длинными хвостами. Гнулись как угодно! Продавцы кричали:

*А вот... Повара, повара,
Из Гостиного двора,
Утром макароны жарят,
Ночью по карманам шарят,
Повара, повара...*

Мы прикалывали их себе на пальто.

Потом были «американские жители». Объяснить очень трудно. Это дутые маленькие человечки, помещённые в запаянную стеклянную трубку с денатуратом. «Американские жители» в наших тёплых руках таинственно всплывали и опускались.

Были всяческие сласти, яркие, не магазинные. Какая-то «сахарная вата», изготавливавшаяся тут же. Мальчишки из Володиной гимназии называли её «ватерной сахарой» (я была шокирована).

Продавались птички. Книги. Дешёвые игрушки, детские гармошки, балалайки, пахнущие клеем, да мало ли что ещё!

Вербная неделя была каким-то оазисом веселья на фоне Великого поста, да ещё перед совсем серьёзной Страстной. И не надо забывать, что это всегда — как бы ни передвигалась Пасха — получалось ранней весной; солнце было ослепительным, пахло тающим снегом и мокрым сукном, и во всех домах стояли милые, пушистые, как зверьки, вербы.

После революции, по инерции, ещё долго устраивались вербные базары. Не помню, когда они исчезли. А вот рождественские ёлки были запрещены сначала. Устраивали их потихоньку. Ездили сами в лес, рубили. Привозили молочницы. И было так года до... 36-го, когда Калинин выступил с речью: «Почему, мол, лишили детей радостей новогодней ёлки?» И тут пошло... и теперь ёлки у всех и всюду — ёлки настоящие, ёлки пластмассовые и просто серебряные... Только не рождественские, а новогодние.

В гостиной был поставлен спектакль «Волшебные мандарины». Пьеса в стихах была написана мамой. Два действующих лица: Алькарин (Вова) и Фатазима (я). Вдохновили маму светильники, которые делал папа из кожуры мандаринов. Алькарин — богатый восточный купец. Фатазима — сначала нищая, в рубище, продающая мандарины, а потом Фея. Волшебные загорающиеся мандарины предсказывают купцу, как спасти от гибели его корабли. Благодарный — во 2-м действии, — он мечтает отблагодарить Фатазиму. И тут — занавеска падает — и появляюсь где-то высоко я всё в том же рубище. Он преподносит мне мешок с золотым песком:

*И золотой песок
В знак щедрости своей Тебе дарю.*

А я, как меня учили, с пафосом пишу:

*Благодарю!
Но золото не надобно тому,
Кто мандаринами волшебными владеет.
Так знай же, Фея я!*

(При этих словах мои лохмотья скидываются, и я оказываюсь «Феей».)

Шли репетиции. В это время гостил у нас дядя Павлуша Митрофанов. Он нашёл, что Володя недостаточно выразительно играет. «Нет, Вова, не так, не так! Дай мне. Ну, Тася, говори сначала». И когда я произношу: «Так знай же, Фея я!» — дядя Павлуша ахает и начинает кувыркаться назад, через голову, до самых дверей в столовую.

Можно себе представить, как мы любили дядю Павлушу. Он же нарисовал афишу на сером картоне с оранжевыми мандаринами и с непонятными мне словами в конце: «Исполнители В. О. Мунц и Н. О. Мунц произведения М. Л. и О. Р. Мунца». Я-то помнила, что стихи писала мама одна! В самом конце совсем мелко было приписано: «Афишу рисовал я».

Спектакль прошёл благополучно. Если не считать одной непредвиденной паузы: на репетициях Володя съедал воображаемый мандарин, а тут он, сидя по-турецки, очень долго чистил и добросовестно жевал настоящий. На зависть зрителям.

Была масса гостей. Угощение à la fourchette. Веселье полное!

Наутро я сидела с мамой и занималась арифметикой. Квартира была ещё не приведена в порядок. Балкон (сцена была устроена в эркере) заклоплен обоями. От этого в гостиной темно. Мы считали с мамой нашу арифметику на горошинах. Я ничего не соображала. Мама сердилась. Я смотрела на эти белые и жёлтые горошины с тоской: ах, вчера мы стреляли этим горохом из пистолетов, и было так весело... а теперь такая скука... И мама ещё сердится...

Уезжая от нас, дядя Павлуша подарил мне книгу Чарской «Тринадцатая». До этого Чарскую мне родители читать не давали. Но дядя Павлуша не согласовал свой подарок с художественными принципами папы и мамы, и «Тринадцатая» стала сразу же моей любимой книгой. На титуле была надпись: «Моей маленькой Фатазиме».

Тут же, в гостиной, разразилась однажды страшная драма.

Я уже писала, что я была впервые влюблена, когда мне было 8 лет, в Васю Добровольского. Жил он над нами, а учился в той же гимназии Мая, но старше Володи. Было ему 16 лет. Мы уже провели одно лето у них в имении, и вот зимой — не в силах больше справиться с терзавшей меня страстью — я написала Васе любовное письмо. На розовой почтовой бумаге с изображением котят. К бумаге был такой же конвертик. Я долго носила это письмо с собой «за корсажем», то есть запихивала его в лифчик, после чего оно благополучно проваливалось на пол. Володя нашёл его. Вскрыл ножичком, прочёл — на моих глазах, — посмеялся и отдал мне. Не подозревая ничего дурного. Но я-то, я-то! Хороша! Я заклеила его снова и послала Васе через нашу молоденькую горничную. Написала я Васе так: «Дорогой Вася Добровольский! Я в тебя безумно влюблена. Жду ответа».

Ответ не замедлил прийти. Но, увы, в том же моём конверте. Родителей дома не было. Володя разыгрывал гаммы в гостиной. Чтобы приняться за чтение ответа, я обошла кругом всю гостиную, плотно закрывая все двери, чтобы Володя мне не помешал. Этот манёвр вызвал у Володи страшное подозрение. Дверь распахнулась, и со словами: «Где письмо?» — он появился, страшный как гроза. Я протянула ему невскрытый конверт. Что было, что было! К этому времени вернулись папа и мама. Володя кричал, рыдал, повторяя: «Я обещен, я обещен, я не могу больше ходить в гимназию!» Я ревела громко и долго. Под конец, уже всхлипывая бессильно, я сидела на коленях у мамы, и она что-то говорила мне, что я начиталась чего-то, упомянула какую-то Татьяну, о которой я слыхом не слышала, и чтобы я помнила этот урок на всю жизнь. Под конец же сказала: «И что за глупости — “влюблена”. Ну как может маленькая девочка быть влюблённой? Ну, любить может, а не быть влюбленной!» А я сквозь слёзы твердила: «Нет, нет, влюблена, именно влюблена...» Я не предала своей любви.

Мама спрятала моё письмо в верхний ящик комода, сказав мне при этом очень серьёзным голосом: «Вот. Я прячу. Чтобы ты никогда ничего подобного не повторяла».

Через некоторое время я выкрала своё письмо. Прочла приписку Васи, ничего не поняла в ней — и выбросила подальше злополучный документ. А приписал Вася что-то очень глупое вроде: «Без подписи нотариуса не верю».

Гостиная — в оправдание своего названия — перевидала много наших друзей и много веселья.

Первый большой бал с танцами. Моё пятнадцатилетие. «Bal blanc», — говорила мама, и правда, все мои подруги были в белом. И мне было шито платье из белого простого тюля. У нас уже тогда появился Алёша Притвиц.

Он называл меня в этом платье «тюлевой бабой» — мне казалось, что это что-то съедобное вроде ромовой бабы. На этом вечере были у нас ещё и Пастуховы. Девочки Шрётер — дочери Ек. Л. Бенуа, Марьяна и Галя, — «беленькая и чёрненькая», так звали их у нас с самого детства; обе милые, но ужасно застенчивые, не в маму! Нина Павлухина и Настя Борцова — мои школьные соученицы. Фомины. Беляевы. Володины соученики ещё по гимназии Павлик Оль и Митя Дидерикс.

Когда Володя был приготовишкой, мама спросила его, кто лучше всех у него в классе? Володя буркнул сердито: «Все хорошие». Но мама допытывалась: «А все-таки?» — «Все хорошие». — «Ну, а самый-самый хороший?» — «Ну... Митя Дидерикс». Так вот этот Митя Дидерикс бывал у нас теперь: высокий, красивый блондин.

Мама удивлялась: ну почему мы, все девочки, не влюблены в него? Красивый, добрый, хороший! Через некоторое время мама заявила: «Не он плох, а вы недостаточно хороши для него!» Но однажды зимой мама увидела, как Митя стягивает в передней с себя глубокие тёплые ботинки... Мама вздохнула и призналась: «Да... пожалуй, я понимаю вас...»

(Когда началась война, Митя работал в Кингисеппе и был убит в первый же день.)

Нашим неизменным тапёром был Кадя Беляев, вообще прекрасно справлявшийся с роялем. Потом уже у нас играли и настоящие тапёры, и даже знаменитый Бём («душка Бём!»).

А уже в моё шестнадцатилетие вечер был грандиозный. На всю ночь. И тут были многие, многие мои соученики: Таечка Фролова, Любаша Глушкова, Нина Дёмкина, все наши мальчики и впервые — братья Якубовы.

Странно и смешно сейчас вспомнить, что же мы танцевали.

Кроме вальса, проверенных временем па-д'эспань, па-де-катр'а и нашей коронной мазурки, танцевать которую мы специально учились, появился для нас новый танец «ту-стэп», знаменитый (но мы застали уже его конец). Танцевали весёлую венгерку, краковяк, польку. Наивный па-де-патинёр. Потом — новшество: кикапу. Про Нину Павлухину отец так и говорил: «Вот пришла... великая кикапуистка Ниночка». Потом — европейские новшества: шимми. румба. А потом всё-всё это было сметено, и уже до самого конца царили фокстроты — фокстроты быстрый и медленный, — танго и вальс-бостон.

Перечислять наши балы я, конечно, не буду, да и не вспомнить все! Состав гостей понемногу менялся. Кто-то отпадал. Даже Беляевы завели свою путевскую компанию и только аккуратно являлись с визитом на Новый год и Пасху — самыми первыми, с утра, когда ещё не все члены нашей семьи бывали одеты. Братья сидели чинно 7 с половиной минут (положенный минимум для визита) и бежали дальше. Кто-то из друзей уезжал. Кто-то появлялся новый. Но вот Алёша Притвиц, как появился в 22-м году, так и был нашим постоянным гостем до конца. Сначала с Марией Викторовной. Потом и с ней, и с Зиночкой. До рокового 1935 года!

Нельзя себе было представить вечера без Алёши. И до сих пор, когда я слышу музыку вальсов, под которые танцевали мы в те юные годы, я вижу смуглое лицо Алёши, и его серые глаза, и улыбку, чуть вбок, и вижу, как откидывает он чёрную прядь со лба. Так он и остался навсегда молодым, и мы всё танцуем и танцуем с ним.

Конечно, летние балы были всегда лучше. Может быть, из-за балкона? Из-за белых ночей? Из-за цветов? Выбор цветов у нас был беднее, чем тут теперь, в Москве. Но было много сирени. Пестрели астры. Противовато

пахли флоксы. В моей комнате перед зеркальцем стоял букетик акварельного цветного горошка. А вот ландыши — ландыши связаны для меня навсегда только с выпускным вечером нашего класса в 24-м году.

Сколько было ландышей!

Итак, повторяю, с годами состав наших друзей менялся, появились весёлые Володины друзья-архитекторы. И вечеринки проходили и в гостиной, и в мастерской.

Но был один, последний, знаменитый маскарад 1937 года. Пир во время чумы — ведь годы-то были невесёлые. Уже «уехали» Притвицы. «Уехала» Марьяка с Тройницким*. Звали мы на этот вечер Глинок, но они отказались, так и сказав: «Не время».

На этом последнем маскараде блеснули костюмами Вэра и Сева: он, высоченный, был одет маркизой, а она — кавалером времён Варфоломеевской ночи. Такой странной парой вошли они под руку. Только вот помню, как ни старались мы сделать Севу смешным, а он всё становился красивее и красивее от белого парика, от мушек, от грима; ну, только что был высок... Было много прекрасных костюмов. Сима — крокодил, а потом египтянка, Володя — мушкетёр, Яша — барин в бархатном камзоле. Все эти костюмы были творчеством мамы. Сама она была звездочётом. Не узнать её было невозможно, так же, как и меня в костюме Ватто, с моими же волосами, напудренными по всем правилам (а я к тому времени и так была с сильной проседью).

Вообще мама была прирождённым костюмером. Фантазия её была неиссякаема. Отец часто рисовал костюмы и претворял в жизнь то, что надо было мастерить или клеить. Ещё помню, что наш самый первый маскарад был в гимназии Мая. Мне было лет 5. Володя был жаворонком, а я — бабочкой махаоном. Какие папа сделал мне крылья!

* С. Н. Тройницкий — муж М. В. Борисовой-Мусатовой, первый «советский» директор Эрмитажа.

В 1944 году мы с Володей перевозили оставшиеся вещи из Ленинграда в Москву. Открыли мамин сундук. Что же там оказалось? Кружева, страусовые перья всех цветов, масса полумасок с кружевами и приклеенными ресницами, веера и конфетти. Мы посмеялись: кем же была наша мать? Во всяком случае, не домохозяйкой, которой ей пришлось быть всю жизнь.

Мама писала стихи, шуточные, поздравительные. Пьесы для нас. Переводила какую-то французскую драму — и тогда же вступила в союз не то драматургов, не то переводчиков. Мама написала либретто оперетки с Марией Викторовной Притвиц. Оперетка называлась «Туда и обратно». Мария Викторовна, по-моему, не писала, а хохотала с лорнеткой у носа и тут же переводила текст её на немецкий язык (действие происходило в Германии). Музыка писали Манфред и Кеннель. Молодые. Манфред — красавец, Авенир Генрихович. Кеннель — маленький, настоящий попугайчик, бывший лицеист.

Возня с опереткой тянулась долго. Хохоту было очень много. Были свидания с какими-то режиссёрами. Был у нас один раз певец, тоже ослепительно красивый, Скрыдлов* (сын «того Скрыдлова» — говорили все, а кто был «тот», не знаю, генерал какой-то?). В тот день к завтраку был подан чудный молодой картофель с маслом, посыпанный укропом. Этот мерзавец Скрыдлов уронил на пол картофелину и не дрогнул. Я знала, что этого требуют приличия, но возмутилась! Картофель был такой вкусный. С укропом! По-моему, было не до хорошего тона.

Ничего реального из оперетки не вышло. И вообще мама не заработала за всю свою жизнь ни одной копейки литературным трудом, если не считать... да, если не считать маленькой шутки о мочале и рогоже, в 8 строк, напечатанной в журнале «Костёр» Нисоном (когда маме было 83 года) — и напечатанной-то тоже ради шутки, уже с его стороны...

* *Н. И. Скрыдлов — русский адмирал, командующий Черноморского флота.*

Зато справедливости ради надо сказать, что Мария Викторовна, несмотря на свою вечную лорнетку, с которой она даже умудрялась засыпать при гостях, не переставая вежливо улыбаться, была профессионалом-переводчиком и до конца своих дней зарабатывала этим. Знала три языка. Особенно ценили её певцы, которым она делала переводы текстов романсов — это называлось «эквиритмические».

Мама в годы моей юности поступила на курсы кройки и шитья. Курсы были в том самом доме, где когда-то жили «красные шапочки». Всё бы ничего, только мама органически не могла резать новую материю — от вечной неуверенности в себе. Мучилась. Мучила меня примерками. И, привыкшая всю жизнь считать (с нашего раннего детства), что мы с Володей всё умеем делать лучше неё, просила меня кроить. Я говорила: «Я портниха или ты портниха? Я портниха или ты портниха?» Мама смеялась. А Георгий Николаевич Фелейзен (брат Женечки), бывавший у нас в те годы, говорил: «Магдалина Львовна! Курсы кройки и шитья! Да вам дипломатический салон надо бы держать, а вы хотите кроить...»

Жорж Фелейзен был совсем не то, что Женечка. Ни горячности, ни непосредственности, ни очаровательного смеха. Но он был элегантен: с белоснежными волосами, вьющимися в меру, длинным аристократическим подбородком, вольтеровской улыбкой и вкрадчивыми голубыми глазами. Недаром он подцепил, к ужасу своих сестёр, молоденькую жену — воплощение невинности или даже перепуга.

Я твёрдо помню, что нашим вечеринкам я предпочитала «взрослых» гостей с небольшой добавкой нас, молодёжи. Это было всегда интереснее. С русскими фамилиями всё ещё плоховато получалось, как вспомнишь сейчас: Бёнуа, Притвицы, Фелейзены, Дорлиаки, Манфред, Кеннель

и т. д. Всегда Беляевы, тётя Оля Константинович (бывшая Покровская), Сюзор. А на нашем конце стола — Алёша При- твиц, Нина Павлухина, позже Сергей Якубов. Веселье ис- ходило от Екатерины Леонтьевны Бенуа и Марии Викто- ровны Притвиц. Обе были прелестными рассказчицами, симпатично не щадившими себя. Екатерина Леонтьевна ещё пела много и охотно. Иногда пела Мария Викторовна сильно надтреснутым голосом «Aitchiguitta», всегда только её. И Алёша тихонько, для нас, очаровательно проглаты- вая букву «р», пел булаховскую «Крошку»:

*Только станет смеркаться немножко,
Слышу я, не дрогнет ли звонок,
Приходи, моя милая крошка,
Приходи поболтать вечерок.*

И тоже — одну эту вещь, совершенно пленяя меня.

Пел и папа. Аккомпанировала ему я. В эти годы у нас было увлечение Даргомыжским и Глинкой. Отец, в жизни часто хмурый и озабоченный, тут бывал очень весел. Смо- лоду мама называла отца «trouble-fête».

Когда затевалось что-то весёлое, он ворчал. Но потом это как-то переменялось. И к старости скорее он про- сил позвать гостей, а не мама была инициатором. Я этого сама не замечала, но помню мамины слова: «Поменялись ролями».

Расходились гости поздно. Но, пожалуй, раньше, чем с наших вечеринок. В Ленинграде ведь можно было расхо- диться или до разведения мостов, или после. Наши друзья расходились после.

Если, конечно, дело было не зимой. (Зимой переходи- ли Неву тропинками по льду.) Николаевский и Дворцо- вый мосты разводились в разное время, и это учитывалось

всеми, кто не жил на Васильевском острове. Дворцовый, как и сейчас, вздымался вверх. Николаевский (Лейтенанта Шмидта) был не такой, как теперь. Почти в конце его со стороны Васильевского стояла островерхая часовня, и оттуда расходились к берегу как бы два рукава моста. Они-то и разводились.

Долгое время гостиная была полуспальной-полустоловой тогда, когда рояль стоял уже у меня. И никогда эта комната не была рабочей, если не считать работой наши с Володей занятия музыкой.

Когда мне было лет семь, купили новый рояль Ronisch. Я тихонько перебирала клавиши. Нижнее соль было похоже на борщ без сметаны. А если чуть-чуть нажать левую педаль, средние регистры звучали как клавесин. Особенность или дефект рояля? Мне нравилось пользоваться этим фокусом. Володя играл совсем недолго. А я — правда, с перерывами, но долго. Сначала с какой-то маминной знакомой Верочкой Потаповой — неустроенной дамой, жившей недалеко от нас, в том доме, где был кинематограф «Лотос». Потом с молоденькой учительницей — туда мы ходили ещё с Вовой на 16-ю линию.

После революции я поступила в музыкальную школу. Она была на углу Среднего и 9-й линии. Тут, в полутёмных грязноватых коридорах с дощатыми полами, впервые прикоснулась я к музыке Бетховена и Моцарта. Не я играла, нет! Но, проходя этими коридорами мимо чужих классов, я слушала, не особенно-то понимая в тот момент, что это за музыка... А теперь эти коридоры вспоминаются мне как хранилище открывшихся мне тогда чудес. Я шла мимо дверей, и снова, как те солдатские песни с Большого, сонаты приближались ко мне и удалялись. И законченные исполнения сменялись разучиванием и повторением всё одних и тех же трудных, но удивительных тактов.

И ещё была другая школа, на 5-й линии. Анна Ивановна Гроцкос. Уроки по теории музыки и сольфеджио. Всё это мне нравилось и легко давалось. Играть же я ходила к самой Анне Ивановне на Офицерскую. Коммунальная квартира, пропахнувшая постным маслом. Комната, тесно заставленная пыльной мебелью. Затхлый воздух. Разбитый рояль, «Песни без слов» Мендельсона, Чайковский, инвенции Баха. После инвенций Анна Ивановна, строгая обычно, расцеловала меня: я играла, видно, музыкально, но руки мои были плохие. Техника мне не давалась всю жизнь. Может быть, не зря хирург, оперировавший мою руку, сказал тогда маме: «На рояле ваша девочка играть, конечно, не сможет». Да нет, думаю, что-то другое, врождённое, мешало мне. Не налаживались у меня отношения с самой клавиатурой! На выступлениях на зачётных концертах я терялась и играла хуже. Но зато в моей коротенькой карьере певицы всё было наоборот: публика вдохновляла меня, и пелось мне легко и лучше, чем обычно.

Самые последние годы, перед войной, гостиная — комната Володи и Симы. Я давно уже не живу на Большом. Но тут помню я маленькую Леночку и... снова работу! Володя что-то проектирует с молодыми архитекторами из троицы Асса, Штеллера и Лебедева. И помню Мишу Пронина. Он тогда впервые бывал у нас. И отчего-то именно он шёл всегда успокаивать и качать Леночку, когда из-за шкафов раздавался её плач.



«Лиза Радлова». 1956.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Следующая, самая большая, комната — папина мастерская, квадратная. Дверь из гостиной и дверь в переднюю, два больших окна, три чертёжных стола. Лежанка на двух ящиках, где хранятся журналы «Зодчего», в редакции которого папа много лет бессменный редактор. Тяжёлая чугунная лампа — то, что теперь называется «торшер». Вероятно, сначала была ещё для керосина? Лампы над столами, спускающиеся на блоках, с зелёными абажурами, кожаное кресло. Письменный стол. На нём парадная фотография дедушки Мунца и совсем маленькая рамочка с портретом папиной мамы. Старенькой. На окнах светло-кремовые занавеси. С шишечками.

Тут, у правого окна с полузадёрнутой занавеской, я впервые узнала, что такое Первое мая. Папа стоял в пальто, в сумерках, глядя боком в окно, как он всегда смотрел вдаль, и говорил маме что-то серьёзное по-французски. Я не поняла. Мне объясняли, что завтра, первого мая, в городе ожидаются волнения, и объяснили мне, что это за день. Была, вероятно, весна 16-го года. Это было для меня первым дуновением надвигающихся событий. Хотя нет! Ещё раньше (в детской) я всё распевала ужасно понравившуюся мне строку на музыку «Марсельезы». Она звучала так: «В десяти верстах от столи-ицы!..» Дальше я не знала. Но эти несколько слов и музыка волновали меня и казались проникнутыми великой тайной заговора.

Самое интересное в мастерской — большая мусорная корзина. Пока папа кончает завтрак, я спешу залезть в неё. Чудесные каталоги, яркие рекламы, какие-то пригласительные

блестящие билеты с ленточками. Всё ценное я забираю и прячу к себе в «контору».

Она находится под животом у рояля. Никто про неё не знает. Несколько дивных золотых отделений! Однажды при гостях, вечером, от слишком энергичных музыкальных аккордов все мои драгоценности вывалились на пол. Таким медленным, скольльзящим водопадом... Неприятно было.

Входя после завтрака в мастерскую, папа первым делом утаптывает ногой переворошённую мною корзину.

Здесь, в мастерской, как и в других комнатах, с утра пахнет затопленной печкой и начищенной медью. Но есть ещё и свои специфические запахи: это запах «радоли» (чернильной резинки тех времён, мягкой, легко разваливающейся), какой-то вощёнки и запах полотняной кальки, на которой тогда постоянно чертили архитекторы. (После революции мы в течение многих лет намачивали и стирали старые папины чертежи – и получался чудный батист.)

В мастерской часто работают папины помощники, молодые архитекторы. Или, может быть, студенты? Кроме Женечки Фелейзена, помню Цинзерлинга и Коварского.

Однажды я решила сделать доброе дело: сообщила Коварскому, что завтра день рождения Фрушки и что будет неплохо, если он сделает ей подарок. Так и вижу, как он сидит передо мною на корточках, а я стою между его коленями. И хотя я вижу его веселую улыбающуюся физиономию, но стараюсь смотреть мимо, так как прекрасно чувствую, что делаю что-то не то. Хоть и утешаюсь: «Я же не для себя. Я для Фрушки». Не знаю, как это дошло до мамы, но мне попало, не очень, но всё-таки. А подарок-то Фрушка получила! 12 слонов. На счастье.

Папа очень много работает. Всегда: и днём, и вечером. И всю жизнь! Мама говорила: «Ах, не умеет этот человек плевать в потолок!» Так вот и Володя работал.

Вспоминаю с особым удовольствием авралы перед подачей проектов. Сначала курсовых, потом заказных и конкурсных, бывало это и у нас, и у Фоминых, и у Руднева, и у Щуко... Это было неповторимо и по-своему очень весело.

Чем ближе к сроку подачи, тем больше и больше помощников. Под конец подключаемся и мы: Ида, Марьяка, Вера. Мы пишем надписи, огромные, работая «вверх ногами», так как подрамники в те годы гигантские. И мы что-то отмываем, не слишком ответственное. Ночи всё укорачиваются. Все пьют чёрный кофе. Едят врозь. Решается волнующий вопрос: ещё одна перспектива, необязательная. Успеют или не успеют? Делать или не делать? Но, конечно, делают. К Володе лучше не подходить: он напряжён как струна. Кисти в обеих руках, благо он левша, и ему всё равно.

То царит напряжённое молчание, то поднимается крик — это Руднев и Володя решают творческие вопросы. Раз в азарте Володя запустил баночку с клеем через всю комнату в Марьяку Шрётер. Не попал.

Под самый конец и мама (если это происходит у нас дома) робко трёт резинкой поля готовых подрамников, шёпотом спрашивая: «А это можно стереть? А это не нужно?»

В самих подачах я, конечно, не участвовала. Грузовик уезжал, унося подрамники и авторов. Иногда на вокзал — к поезду. В Москву. В Баку.

Оставалась опустошённая мастерская, обрывки бумаги, помятые кальки, кисти в грязных банках и кляксы на полу.

У отца были два изречения: «Отдых заключается в перемене труда» — и второе, странное, но как-то понятное мне: «Я люблю делать то, что я не люблю делать», то есть само преодоление нежелания доставляет ему удовольствие.

Папин отдых была скрипка. Пение. Отдых его летом — акварели, которые на моей памяти начал он писать в 16-м году в Луговом. Не помню его читающим беллетристику. Много

писал статей. Уже после революции, служа на «Волховстрое» на Фонтанке, недалеко от Летнего сада, ездил он туда на пароходике. И за это время изучил английский язык. Потом читал по дороге на службу увлекательные романы по-английски (наверное, детективы?), рассказывая нам за обедом то, что прочёл сегодня. Рассказывал с выражением и, доходя до самого волнующего места, вдруг говорил совершенно холодным тоном: «А дальше я не читал».

Ещё стояли в мастерской 2 книжных шкафа, обычные, красного дерева (как тот, что стоит сейчас у меня). Часто, когда я была маленькой, перед корешками книг оказывался, запертый на ключ, мой... Мишка! Это его «арестовывал» папа, если находил на буфете рядом с бутылкой вина. Папа уверял, что Мишка — пьяница. Теперь я понимаю, что папин шкаф был прообразом вытрезвителя! Провокации устраивались и в самой кукольной комнате. Игра была нестрашная — кругом меня не было ни одного пьяницы! Разве что Борис Николаевич Николаев, папин старый друг, тоже назывался «пьяницей», по-моему, не с большим основанием, чем мой Мишка. Правда, Борис Николаевич любил пиво и приносил его иногда. Это был великий оригинал, чудака и стихоплёт («Un original qui ne se desoriginalisera jamais!»). И была у него умная, некрасивая и интересная жена Юлия Александровна.

Что касается пива, которое у нас дома не пили (а мама его очень любила), то долгие годы тянулась традиция: раз в неделю (кажется, по четвергам) в подвальчике на набережной подле Академии художеств после заседания на факультете распивали пиво в таком составе: Николаев, Александр Александрович Грубе (вылитый английский король Георг V), дядя Серёжа Беяев (мой крёстный) и папа. Все четверо — профессора Академии и однокурсники. И ещё долгие годы, тоже раз в неделю, отец ходил рисовать. Вот куда? Не на Мойку ли?

*Un original qui ne se desoriginalisera jamais! – (фр.) Оригиналу, который не перестанет быть таковым.

Так ведь и называлось: «Общество архитекторов на Мойке», в отличие от «Общества архитекторов-художников». Как я мало вникала во всё это, увы! Но зато я помню, какие приносил отец прекрасные рисунки обнажённой натуры. Куда там нам! Жалко, что работы эти пропали.

Боже, сколько прочла нам наша самоотверженная мама в этой мастерской! Читала она папе, когда мы были ещё маленькими. Потом папе и нам, и мы притаскивали тогда наше рисование или так устраивались на ручке кожаного кресла, в котором сидела мама. Потом — уже нам с Марьякой и Верой. Она читала совершенно неутомимо долгими часами, «Ну ещё, ну ещё, пожалуйста...» И только когда читала по-французски, а особенно по-английски, не могла не заглянуть в словарь, отыскивая незнакомое слово, а мы, эксплуататоры, сердились на эти остановки и кричали: «Ну ладно, ну всё равно».

В годы холода и голода, 18–19-й, мастерская наполняется вещами Екатерины Петровны Добровольской. Имение разорено, сама Е. П. с Васей уезжают в Ревель. Тогда никто не представлял себе, что это навсегда. Мебель Екатерины Петровны — дивная. Петровская инкрустация. Я захожу иногда в эту промёрзшую комнату и разглядываю вещи за стеклом горки. Особенно рассматриваю я часы, карманные, с механизмом из слоновой кости и такой же цепочкой. Не знаю, ходили ли они когда-нибудь?

Стоят эти вещи у нас год или два, пока их не вывозит вместе со своей мебелью «Юленька» — несимпатичная толстая сестра Екатерины Петровны.

А вот диван — мой вечный, стоящий сейчас в моей комнате, был тогда оставлен нам. Когда его изредка перебивают, обойщики любят его медными пружинами...

Потом комната превращается снова в мастерскую, а после 29–30-го года поселяемся в ней мы с Сергеем. Это последний этап моей жизни на Большом.

Снова работа. Работа с Марьякой, с появившейся тогда в нашей жизни Вэрой. Работа по ночам? Зачем? Не понимаю. Но, видимо, это традиция дома. Все работают ночами, посылая при этом друг друга спать и возмущаясь друг другом. «Я вывинчу пробки! Безобразие! — кричит Володя. — Спать!» Помню слова тёти Анны: «Тася, ты так работаешь, точно у тебя пять человек детей, больных скарлатиной!»

Рояль. Пение. Поёт Сергей, я, отец, Володя (он поёт: «Mein Herz, das ist ein Bienenhaus, die Mädchen sind darin die Bienen...»^{*}) Жизнь идёт. Наша жизнь тех лет — с работой, путешествиями, спортом и филармонией.

И наступает лето 1934 года.

Мне предлагают ехать художником в экспедицию на Дальний Восток.

И меня захватывает эта мысль. Пьянящие названия далёких незнакомых станций, далёких рек! Волнующие своей непонятностью перечисления геологического оборудования. Даже запах учреждения, куда я хожу наниматься (оно называлось «Транспроект»), сложенные там выючные ящики и ещё какие-то таинственные мешки, пахнущие пенькой, — всё это непреодолимо! И, несмотря на возникшие сначала препятствия при моём оформлении, всё получается. И я уезжаю.

После нашего развода с Сергеем я не помню: кто же в мастерской? Родители? Володя?

Я не живу больше на Большом. Я вернусь сюда через 7 лет. А пока что я часто прихожу сюда. Очень часто. При каждой возможности! Хоть на часок. Даже завёлся новый трамвай — номер 23-й (зелёный с красным) — прямо со Среднего на угол 16-й линии и Большого.

А у друзей появилось новое выражение — «на Больших Мунцах». Так говорят Вэра, Сева и Ходзы. Так они называют дом на Большом, в отличие от моего нового дома, на Среднем.

^{*}*Mein Herz, das ist ein Bienenhaus, die Mädchen sind darin die Bienen... — (нем.)
Моё сердце — это улей, и девушки в нём — пчёлки...*

В нашей прежней солнечной столовой выстроили перегородку, чтобы комната не была больше проходной. И получилась снова очень уютная квадратная столовая. С роялем.

Мне хотелось бы попрощаться с нашей милой квартирой. Я хочу её помнить такой, какой я описала её. Но, увы, здесь, в двух комнатах — столовой и гостиной, — пройдут страшные дни блокады.

А их не забыть.

Уезжая в апреле 42-го года из Ленинграда, я совсем не думала о квартире и милом прошлом, связанном с ней. Нет! Не до того было.

Когда мы втащили наши тюки на грузовик, была одна запомнившаяся мне мысль: «Итак, дома у нас больше нет».

После войны в квартире нашей жила Александра Спиридоновна Оборина*, бабушка Леночки. Я приехала в Ленинград. И пошла к ней.

Вошла в переднюю. Прошла дальше. Дальше. Всё чужое. Новые обои, перекрашенные двери. Чужие запахи. Чужие хмурые женщины мелькали мимо, оглядывая меня подозрительно и запирая перед моим носом двери в мою комнату! Деловитая чужая жизнь.

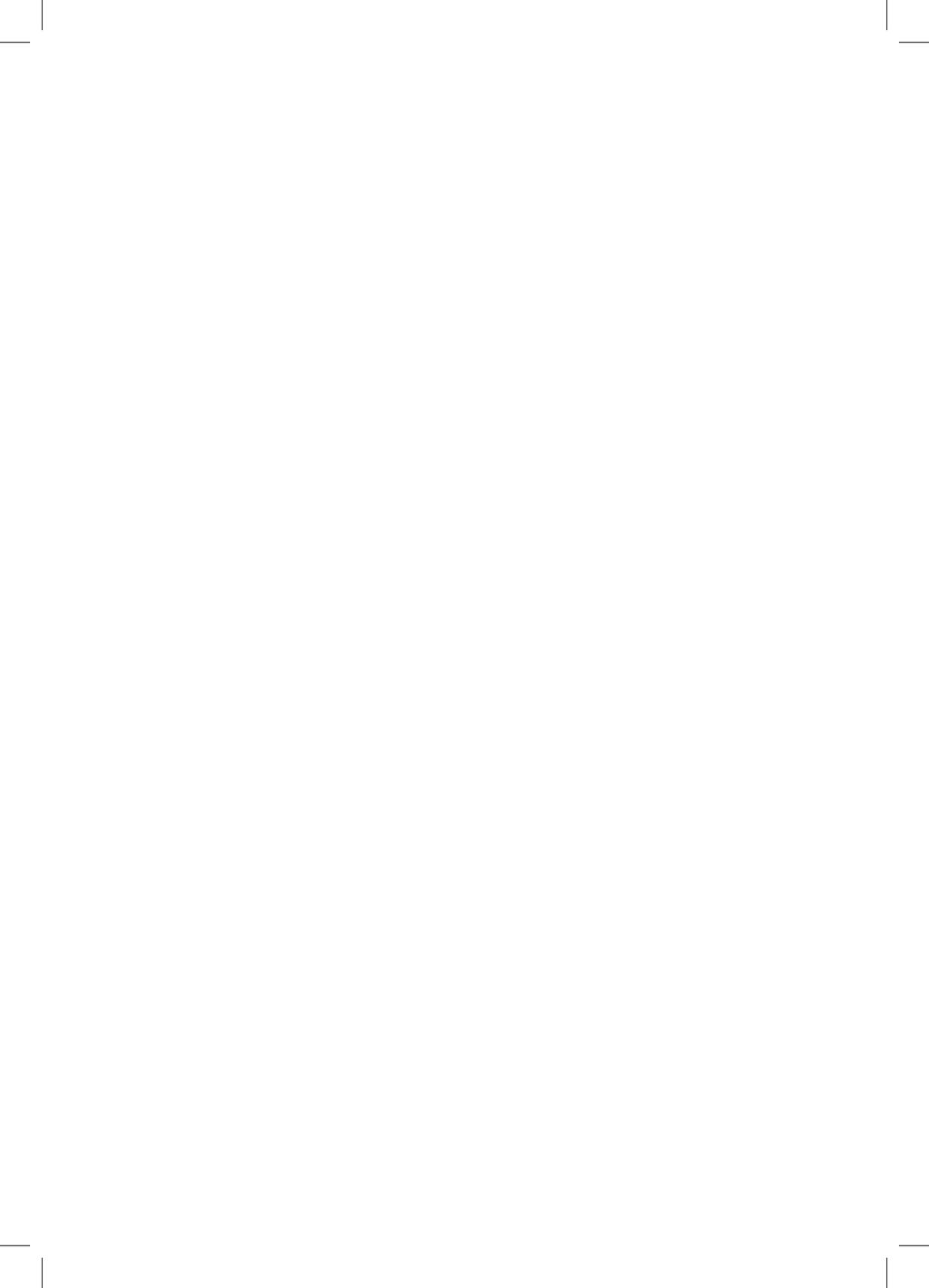
Ну, что же? Можно уйти? Ничего нет от прежнего?

И тут я увидела. Точно знакомые, любимые глаза взглянули на меня с лица, изменившегося до неузнаваемости. Родные глаза! Это были медные шпингалеты и ручки на окнах. Ручки на дверях. Их не перекрасишь!.. Они смотрели на меня из далёкого детства и точно упрекали: «Ну, что же ты? Где же ты была всё это время?»

Вот это было моё горькое прощание с квартирой.

*Москва.
1978 год.*

* Александра Спиридоновна Оборина – тёща В. О. Мунца, бабушка Е. В. Мунца.



ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ЛЕНИНГРАДА
В МОСКВУ
С ПЕРЕСАДКАМИ



«Лиза Радлова». Маникино.1954.

І. ОТЪЕЗД

Я заранее наняла грузовик. И выехали мы из дому — мама, я, Ляля и Саша — к вечеру 9 апреля 1942 года. Саше — 3 года, Ляле — 13. Позади ленинградская блокадная зима.

Я отвезла маму и Сашу к Обориным, они жили недалеко от Финляндского вокзала. А сами мы с Лялей пошли на вокзал и всю ночь простояли в очередях за пайком для эвакуированных. Где были наши вещи? Вероятно, с нами. Это всё были тюки, покрытые чёрной матовой клеёнкой (купленной Володей ещё до войны, наверное, для палатки). Нам было сказано, что чемоданы брать с собой нельзя.

И тут уже ночью начались сцены, предопределяющие всю неразбериху нашего будущего пути: время от времени раздавались вопли: «Мама! Мама!», «Таня!», «Люда!». И пробегали заплаканные, перепуганные, потерявшиеся дети и женщины.

Из пайка, выданного нам, помню только небывало большие, забытые порции хлеба. Выдавали сразу дня на три, да ещё на всех четверых.

К утру произошла посадка в вагоны типа дачных. Жуткая теснота, ругань. Не понимаю, как справились мы вдвоём, ничего не растеряв? Вещи были невелики и очень ладно упакованы (школа экспедиций и выюков).

Оставив Лялю в вагоне, я пошла за своими. Не помню в жизни своей состояния большего отчаяния: куда я везу маму?! Безумная! Я бы дорого дала в эти минуты, чтобы оказаться снова на Большом. Но было поздно: печурка была разорена, машины не было, вещи — в набитом вагоне,

и ничего больше не оставалось делать! Я шла, и слёзы лились, и я не вытирала их. Мне было всё равно...

Как я их привела и как мы сели в вагон, забыла. И сколько времени мы ехали до Борисовой Гривы? Сутки? Полтора суток?

Запомнился такой случай: одна женщина, одинокая, вышла на станции, чтобы с кем-то встретиться. А когда поезд двинулся, было похоже, что она осталась. И тогда её соседи (молодая женщина, распухшая от голода, с девочкой) сразу же стали есть что-то из её запасов. А мы молча наблюдали за этим. И тут — никогда не забуду — со стороны площадки вагона, расталкивая локтями стоящих пассажиров, появилась хозяйка вещей; нет, не она появилась, а просунулась одна её голова — блондинки с безумными глазами: что с её вещами? Целы ли? Как она потом ругалась! «Ах вы! Интеллигентные люди! Смотрите и молчите!» И все опять молчали.

Приехали в Борисову Гриву, на берегу Ладожского озера.

(А ведь когда-то, в весёлые мирные дни, мы ездили туда компанией! Помню Веру и Севу Черняева, еду рыбаков в доме с маленькими окнами. И за окном — свинцовое небо над озером, и озеро эти люди называли «морем».)

Приехали мы к вечеру, ещё засветло, и началась погрузка на подъезжающие один за другим грузовики. Брали «на абордаж». Мы стояли, беспомощные, пропуская одну машину за другой. Наконец Ляля пообещала табак каким-то красноармейцам, и они схватили наши тюки и закинули наверх, маму — так же, и только ножки мамы торчали, тоненькие в беленьких бурках.

Мы устроились за кабиной и поехали в темноте. Я всё укрывала одеялом, как цыплят, своих детей. И была там хорошая простая тётка, одиночка, называвшая маму «бабушка», добрая и заботливая с ней.

Страшная, хлюпающая в воде тёмная дорога. Рядом разговоры: «Вчера две машины провалились под лёд. Немцы бомбили». «А сегодня ещё подтаяло».

В темноте разгружаемся на другом берегу залива, в Кабоне. Сложили вещи на снегу, вместе с той тёткой и девочкой Аронович — познакомились в поезде. Осиротела. Внучка юриста лет 13–14. И снова ушли мы с Лялей в очереди за едой. Маму посадили стеречь вещи. Разные очереди, то за кипятком, то за супом. Пока стояла за кипятком, видела, как крутился человек на снегу. Крутился, крутился — и замер. Умер.

На рассвете вижу — бежит та наша женщина и, заливаясь слезами, кричит: «Бабушка! Бабушка!» А бабушка (мама) и на самом деле куда-то ушла и исчезла. А женщина только по маме может найти свои вещи. Я окликнула её, а вот мамы долго-долго не было, и наконец вижу: вся перемазанная глиной, на шатающихся ногах, улыбающаяся гримасой, которая заменяла улыбку и маме, и Володе, когда от голода не было щёк для улыбки, идёт мама. Она заблудилась. И как в дурном сне, в темноте, всё падала и падала в какие-то канавы со скользкой глиной. «Как у Леонида Андреева», — говорила она потом. И эта грязь, эта глина и слово «Кабона» слились для мамы в одно на всю жизнь.

Когда рассвело, кругом оказались лежащие в сторонке, а в общем, между кучками вещей и людей такие «палочки» — покойники, пряменькие, закутанные с головами. И, когда я увидела эти непараллельные (как в форзаце) палочки, я поняла, что Володи нашего давно нет в живых! Вот так же он, наверное, умер где-нибудь в пути. Сюда, в эту Кабону (мы не видели никакого посёлка — были только временные палатки для выдачи еды в окошечко), сюда были положены рельсы, наверное, специально для эвакуации. Точно рельсы игрушечной железной дороги, без всякой насыпи.

Вещи были теперь перетащены к этим рельсам в ожидании поезда, а девочка Аронович ушла снова за кипятком. Неожиданно подали состав, и надо было сразу же грузиться. Чемоданчик девочки стоял подле путей. Я бегала, звала её, да так и не нашла, поезд двинулся, я вскочила на ходу, а чемоданчик так и остался стоять одиноко... а с ним, возможно, погибло навсегда наше доброе имя в глазах этой девочки.

II. ТЕПЛУШКА

И началось наше страшное путешествие в теплушке.

Было так тесно, что спать лёжа можно было только по очереди. Мы устроились направо от двери. У Сашеньки был страшный ожог на руке — я всё смотрела, не загорелся бы (он ошпарился чаем ещё в Ленинграде, и, пока я расстёгивала рукавчик, тут и ожгло, повыше от запястья). А у меня пальцы были порезаны пилой (пилила на кухне дрова для печурки, и пила дважды соскочила, и два параллельных шрама так и остались по сей день).

Горшочки — мамин и Сашин (пластмассовый) — ехали в двух мешках всё из той же чёрной клеёнки. Ловко мы всех надули! Публика была мерзкая по злобе. Особенно издевались над моим отношением к маме: «Мамочка! Ха-ха! Мамочка!» А забота о Саше казалась им естественной. Это всё были люди, каких мне не приходилось встречать раньше/ Я думала: где же они жили, такие, в Ленинграде? Мужчин совсем не было. В основном это были женщины, бабы, мало детей. Не столько истощённые блокадой, сколько озверевшие. И ехали мы всего 17 дней.

Публика понемногу убавлялась. Эшелон шёл на юг, в Кироводск, то есть прямо к немцам угодили бы! Но я твёрдо хотела к Ольге Олейниковой, на станцию Платоновку, под Тамбовом. А для этого надо было сделать пересадку в Мичуринске (бывшем городе Козлове). Мама умоляла: «Будем фаталистами! Поедем на юг». Ей хотелось тепла.

Что же было в пути? Проезжали мы Орехово-Зуево (значит, очень близко от Москвы). Кстати, везла я из Ленинграда только две книжки: поваренную книжку «Кухарка

за повара» (такая маленькая, единственная в мамином хозяйстве) и атлас СССР — Яшин (есть у меня и теперь).

Проезжали Ярославль. Тут я рано утром, только прибыли, помчалась в город искать Володю, который, я знала (откуда знала?), лежал в госпитале, снятый с поезда.

Ещё только начали ходить трамваи, я поехала в центр. Но какой-то добрый человек, узнав, что я «с эшелона», сказал: «Как? Вы из эшелона? У вас там дети? Немедленно возвращайтесь в вагон! Никого не ищите! Вы не знаете, сколько народу каждый день отстаёт от своего поезда!» И я вернулась.

Не помню, как встретила меня в этот день Ляля, но часто, встречая меня у вагона, она стояла вся в слезах от страха, что я не приду, опоздаю (на Ляле было серое зимнее пальто и серая кроличья остроконечная шапочка с ушами. Вся — серенькая, как и её глаза).

На станциях вдоль всего пути у окошечек касс были наклеены бесконечные записки-объявления: «Лёню, Машу и Колю Козловых разыскивает их мать М. К. Козлова», «Оля и Николай Фёдоровы ищут свою мать Фёдорову...» и т.д. Так что моя поездка в Ярославль была действительно неразумна. Поезда не придерживались никакого расписания.

Где-то по дороге, на станции, у вагона, стояла женщина с куском хлеба (граммов 400) и предлагала хлеб тому, кто похоронит её мужа. Мы постояли с Лялей, глядя на хлеб, и помечтали заработать его так, но не решились. Как копоть? Чем? Где? Успеем ли?

Были у меня с собой две вещи для обмена: табак и мыло. На одной станции я вошла в домик железнодорожника (стрелочника, наверное) с табаком и вдруг увидела в миске натолчённую горячую картошку с кожурой. «Что вы хотите?» — спрашивает он меня. «Вот это», — говорю, не в силах оторвать глаз от миски. — «Да ведь это курам

приготовлено!» — «Ничего. Давайте мне». Так и перевалила к себе в котелок куриный обед. Как-то вечером приходит в вагон радостная Ляля: повезло! Какой-то человек на платформе дал ей варёную жилу, белую, большую. Сосали, сосали мы её ночью, раздирали, жевали — а она ведь не жётся... Эти два случая были уже после Козлова, когда ехали мы не в теплушке.

А в теплушке народу всё убавлялось, и люди становились всё добрее и добрее к нам.

Однажды днём я уснула. И вдруг меня соседки будят: «Тася! Тася! Бабушка осталась!» Вскочила — поезд медленно отходит от станции. Я бросилась к двери, смотрю влево, вправо и вижу: из последнего (или, во всяком случае, более дальнего) вагона высовывается, машет мне и «улыбается» мама, как белочка (почему-то помню это сравнение). Она не успела влезть в наш вагон. Вообще она, такая худенькая с сильными от природы руками, легко подтягивалась в вагон, не по возрасту и не по состоянию. На ней была (вдруг ясно вспомнилось) вязаная шапочка вертикально-полосатая. Таких много носили перед войной.

Несмотря на страшное истощение и на свои 65 лет, мама спокойно и безропотно переносила все трудности пути. Может быть, это спокойствие было просто полусознательное состояние, в которое она впала ещё в Ленинграде? Ведь даже я помню во время блокады постоянное ощущение нереальности всего происходившего. И всё-таки мама была пассивна, но мужественна.

Не то было бы с отцом! Я бы никогда не решилась пуститься с ним в такой путь. Папа был человеком привычки. Всегда подтянутый, физически и морально, он стойко переносил голод. Но лишить его привычных ему вещей — стакана воды рядом с изголовьем, утреннего мытья и т.д. — было бы невыносимо.

Скончался папа зимой в стационаре Академии художеств, куда лёг очень худой, но совсем здоровый. Помню, я провожала его туда, шла за ним и думала: «Даже сквозь шубу видно, какие худенькие у него плечи! Но как быстро он идёт». А он обернулся и, точно угадав мои мысли, сказал: «*Pas mal pour vue?**»

Это было в конце января. А в ночь со 2 на 3 февраля его не стало. Его накормили там «гуляшом». А дома мы уже давно не видели ничего иного, кроме мазей из аптечки, на которых поджаривали кусочки хлеба.

Я навестила папу раза два. А потом слегла сама. В последний раз видела его Ляля.

На Смоленском блокадном кладбище есть памятник по Володиному рисунку. Там похоронены семь профессоров и преподавателей Академии художеств, умерших в её стенах в эти самые дни.

Стоит солнечная погода. Всё тает. И я вывожу на остановке Сашеньку. Раздеваю его до пояса и быстро мою в талой воде, к ужасу баб и даже мамы. Саша весёленький. Что ему эвакуация? Запомнился он таким: синее зимнее пальто с чёрным воротником, белая вязаная шапочка с помпонами и ленточками под подбородком и валенки с галошками. Стоит подле вещей в Кабоне и весело давит галошками хрустящий лёд на лужах. Вот тогда я и подумала: «Счастливый возраст!»

На станции Мичуринск мы пересаживаемся в поезд на Тамбов. Для пересадки нужно вымыться в бане, и только по справке «О санобработке» нам продадут билеты дальше. Как быть? Оставляем на вещах маму и Сашу. А мы с Лялей «санобрабатываемся». В бане черно, как в аду. Потом в справке на двоих я переделываю на почте «2» на «4», дрожа от страха за подлог. Ноги трясутся, когда протягиваю свою подделку в кассу. Сходит благополучно.

**Pas mal pour vue.* – (фр.) Не так уж плохо для старика.

В Мичуринске смотрю, не могу оторваться, на девушек с бюстами. У всех есть бюст! Чудо. Помню, перед отъездом из Ленинграда я ходила оформляться в Дом архитектора и там тоже, на лестнице, смотрела на мраморную скульптуру (Психеи, что ли?). С грудями! Нечто забытое...

Пока мама сидит одна на платформе, проходящие девушки бросают ей в руки ломоть хлеба. Милостыня? Удача? Показатель сытости?

Забыла я, как погрузились мы в новый поезд (так называемый 3-го класса) и сколько времени мы едем? Только помню ночь в тамбурчике у круглой высокой печки; днём мы поджариваем с Лялей на этой печке кружки сырого вымоченного картофеля. И едим его полусырой, и наслаждаемся этим. (Витамины, что ли, радуют?)

На станции Платоновке, помогая нам, добрые дяди выкидывают из вагона наши вещи. И — дзын — один чёрный тюк! Это погибли чашки, тонкие, александровские, с вензелем на дне, которые я везла с собой в надежде: авось доедут!



«Портрет военного». 1943.

III. ПЛАТОНОВКА

Были последние числа апреля. Мы снимаем комнату. Первое мая! Это число запомнилось потому, что этот праздник был так не похож на праздник. Потом переезжаем к другой хозяйке. Распутица. Не знаем, как доехать до Ольги. До деревни Старое Челищево (какое название!) восемнадцать километров.

У мамы начинается «голодный понос». Что-то странное происходит с ней.

Хозяйка кормит нас. Набирает воду в котелок прямо из талого снега вокруг дома. Раз — зачерпнула и варит нам кашу. Поварит чуточку в печи и подает нам полусырую. Но, правда, очень любезно. Не потому ли маме так плохо?

Ещё мы вымениваем (не помню уж на что) яйца — разбиваем сырые, болтаем с водой, солим и едим. И всё подливаем и подливаем воду, чтобы растянуть наслаждение. (Вспомнила! Это мы делаем на вокзале, в зале ожидания, — значит, только приехав в Платоновку.)

Мы с Лялей спим на русской печке. Когда она тёплая, это, оказывается, очень неприятно. Что значит с непривычки!

Вот в эти дни — и только сейчас я вспомнила, что я художник. И ужаснулась: как это я поехала? Ничего для рисования. И милая Ляля притаскивает мне содранные ею потихоньку со стены афиши — с обратной стороны чистые.

Хозяйка наша похожа на украинку, весёлая, миловидная. Наконец мы решаемся доверить ей маму и Сашу, а сами отправляемся с Лялей с утра пешком по узкоколейке.

Мы идём к Ольге Олейниковой.

Знает ли Ольга сейчас, какую роль сыграла она в моей жизни?

Ещё, наверное, в марте, когда папы уже не было в живых, а Володя уехал из Ленинграда, пришла она к нам на Большой и сообщила, что решила ехать к Лёвушке, в Тамбовскую область. И предложила взять с собой Лялю. Помню ночь: наши постели на полу в столовой. И я в полном смятении: как быть? Сама я ехать не собиралась, я считала, что не довезу маму. Да и куда везти? А где же будет Ляле лучше? Как решить? Ведь кормить нас теперь стали уже гораздо обильнее, не сравнить с зимой. И я предоставила решить этот вопрос судьбе. Я сказала: если вы получите билет на самолёт, берите Лялю. Если на поезд — не надо. Не думала я, что, ставя эти странные условия, я решала и всю свою дальнейшую судьбу.

Билет дали на поезд, Ляля осталась.

А между тем она стала всё больше и больше худеть: лицо оставалось кругленьким, а где-то под ушами стала худеть шея, и это было очень жалостливо. И Ляля стала мечтать уехать и уговаривала меня.

А под Пасху немцы впервые после зимы страшно бомбили город. Я стояла в проёме дверей во время бомбёжки и думала: «Как, теперь умереть? Теперь? Пережив эту страшную зиму? Не-е-т! Теперь я уеду, поеду к Ольге».

Мама просила оставить её, не везти. Я говорила: «Ну хорошо. Ты умрёшь или здесь, или в пути. Но подумай, какую тяжесть мне надо будет нести на своей совесть всю жизнь?»

Так решила наша эвакуация.

И вот теперь, отшлёпав по шпалам 18 км, мы увидели впереди справа бугор, как спина борова со щетиной чёрной мрачной деревни по горбу. Это Старое Челищево. И среди крыш — одна-единственная зелёная крыша.

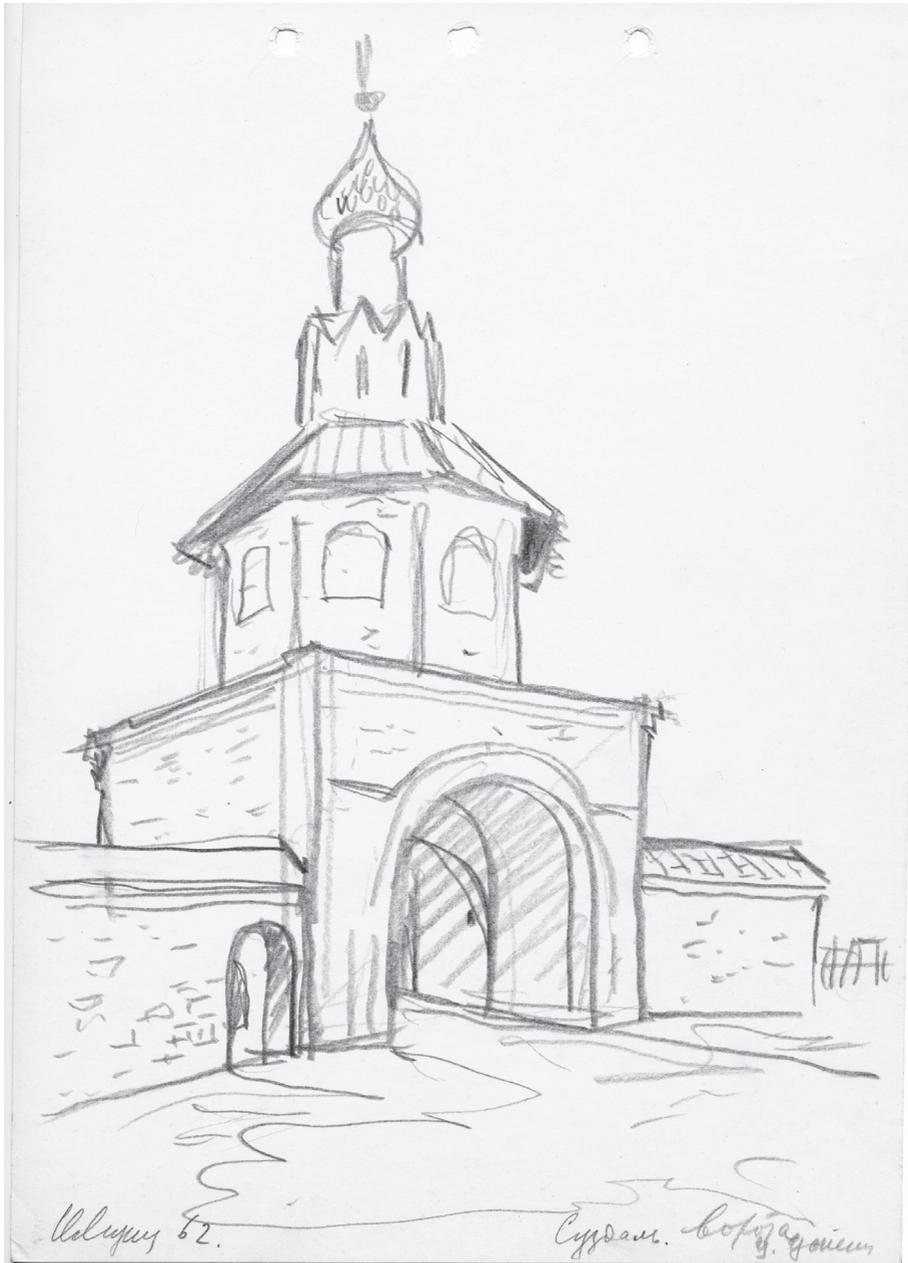
Повыше. И я поняла: это школа. Туда мы и идём. И это единственное на всей земле место, где нас ждут!

Долго-долго ещё поднимаемся мы к этой школе и, наконец, дошли. Самый момент встречи я не помню. Зато хорошо помню, что впервые за многие месяцы блокады и нашей эвакуации мы — желанные гости. Нам рады! Нас кормят!

Были там Ольга Олейникова, Лёвушка, «тётя Поля» (Полина Николаевна Павлова) — зав. школой — и её ленинградская сестра Верочка. Это сёстры Лёвиного отца. Нас кормили «тамбовским супом» из пшена и картофеля, уложили на пол спать, а с утра мы пошли в деревню Новиково снимать себе избу. Между Челищевым и этой деревней был овраг. И лес. И в лесу этом так нещадно пели птицы по утрам, что я, к собственному стыду, вспоминала всегда зоомагазин. Но это было потом. А тогда сняли мы с Лялей помещение в избе (второй, кажется, слева со стороны Челищева) и отправились снова по рельсам в свою Платоновку.

И опять сидели, не зная, как переехать. И опять Ляля (а не я, шляпа) наняла на рынке мужика с телегой, и мы поехали в нашу деревню. Этот путь, вся эта «Тамбовщина» запомнилась мне полями, голыми буграми, среди которых то тут, то там чернели щётки хвойного леса.

Было солнечно и счастливо. Свисали с телеги мамины худенькие ножки в бурках, и, помню, при переправе через ручей один бурок упал в воду. Достали его. И помню волну нежности к маме, наполнившую меня тогда, и осознанную вдруг радость, что мама жива. Со мной!



«Суздаль». 1962.

IV. НОВИКОВО

И так началась наша жизнь в Новикове. Мама потихоньку поправлялась. Сначала всё больше лежала во дворе на дровнях, на солнышке. Потом стала, пошатываясь, ходить поблизости за щавелем и крапивой. Всё в своём коричневом казакине, опушённом перьями марабу.

Прожили мы тут месяц. Колхоз выдал мне 16 соток под огород. Но это была целина, вернее, заброшенная земля, и я стала её копать. Терпеливо! Господи, как глупо! Только потом я поняла, что меня могли прокормить мои руки совсем другим образом: я прекрасно увеличивала бы фотографии сыновей и мужей, ушедших на фронт. Когда меня кто-то попросил это сделать, я нарисовала это с такой лёгкостью. И доставила столько радости заказчице... А я-то всё копала и копала.

Каждое утро, часов в 5–6, будила меня хозяйка, толкая: «Та-ась, а Тась! Вставай стряпаться?» Печь уже топилась. Я ставила в печь свои горшки с едой на весь день. Хозяйка умилялась, как я справляюсь с ухватами: «Ну, ты как настоящая деревенская управляешься! А вот пол мыть — пусть у тебя уж Ляля будет мыть, ладно».

Потом я уходила копать. Огород мой был по ту сторону лощины, за ручьём. Перелезала я через него в гуще каких-то кустов, мокрых от росы. И неизбежно каждый раз вспоминала рахманиновский романс «По утрам, на заре, по душистой траве я пойду своё счастье искать». Это было так далеко от меня — Рахманинов! И от этого мне очень нравилось повторять эти неуместные слова.

Потом я копала свою целину, пока не обнаруживала, что на крыльце нашего дома в деревне вывешено полотенце: это значило, что все встали, завтрак готов и я могу идти домой. А после, днём, мы копали уже с Лялей. В общем, огород я свой весь засадила, и в день нашего неожиданного отъезда из Новикова взошёл мой первый картофель.

Время от времени я меняла одну из маминых серебряных ложек на картофель. Для этого вечером, когда темно и соседи не увидят, я пробиралась к одной зажиточной одинокой старухе (скрывавшей, видимо, по-деревенски свою зажиточность), и совершалась сделка к обоюдному удовольствию.

Молоко мы совсем не пили (впрочем, «пить молоко» там не говорили: молоко кушают, а не пьют) — итак, мы его не «кушали». Но нам хозяйка всегда предлагала сыворотки, и очень вежливо: «Угодно ли сывороточки?» (вместо того чтобы вылить её скотине). Мы пили её с наслаждением.

Обедали мы на потеху всей деревне на крыльце, выходящем прямо на деревенскую улицу, — за неимением «балкона». Занавесили чем-то и сидели эдак сбоку. Дачные замашки!

Сколько бы я ни наварила супу — в огромной кастрюле, — мы доедали всё всегда до конца. Оторваться не было сил! И ещё к обеду мы приносили из ключа вкусную, особенную воду в Марьякином эмалированном кувшине. И тоже — пили и пили. А вот хлеба за этот месяц почти не было: где-то очень редко и мало я получала муку. И сделались у нас огромные животы — утюгом вперёд! И сделалась какая-то цинга, болячки у всех в уголках рта.

Когда сразу после нашего приезда мы мылись в избе, хозяйка смотрела на нас с ужасом. Потом мне говорили,

что и не одна она — в окошки подглядывали другие бабы и рассказывали потом по всей деревне, как мы были страшны.

Эвакуированных в этой деревне почти не было, и называли они нас «выковыренными». Хозяйка была добра к нам; но страдала, видимо, что мы заняли в избе «чистую половину» — бездумно, просто по привычке дачников! А по воскресеньям приезжали из Платоновки дочери её взрослые, и было тесно (к счастью, мы не зажились слишком долго, и отношения были у нас прекрасные до конца).

Перед тем, что начать мне сажать картошку, я ходила помогать сажать её нашей хозяйке. И ещё сажала ей тыкву, запихивая семечко страшно глубоко (видимо, учитывая объём будущей тыквы). Хозяйка смеялась надо мной. А раз говорит мне: «Сажаем мы, сажаем, а может быть, тут уже будут немцы, когда всё поспеет? Ну, что же, тогда хоть они поедят. — Потом подумала и добавила: — Нет, нехорошо так говорить, наверное».

Жилось деревенским бабам в деревне не голодно, но и не сладко: лошадей всех увели — и пахала вся деревня «на бабах». Очень печальное зрелище. И ещё на коровах. Я видела то и другое.

Однажды вечером, в темноте, отправилась я к нашей богатой соседке с очередной ложкой. У неё на столе дымилась чашка кислых щей с бараниной. И она пригласила меня поесть с ней. У меня в глазах потемнело от одной мысли. Дала мне деревянную ложку, и стали мы хлебать. Она хлебает медленно, медленно, и я с трудом удерживаюсь, чтобы так же чинно хлебать. Страдаю. Терплю. И от кислых щей губы дерёт... Когда я пришла домой с опозданием, в темноте, меня встретила Ляля. Волновалась, куда я пропала. И как обрадовалась за меня, когда я ей всё рассказала!

Сюда, в Новиково, пришла первая телеграмма от Володи. Мы стояли с мамой в сенях — и, как куклы, упали друг другу в объятия: Володя жив, жив! После нашего переезда через Ладожское озеро мы старались не говорить о нём — молчали, не веря, что он остался в живых! А вот Яшиных телеграмм и писем мы не получали — они, видимо, застревали на станции Платоновке «до востребования».

Но вот в один прекрасный день (именно в тот день, когда у меня взошёл первый картофель) я увидела издали, со своего огорода, что въезжает в деревню грузовик (это было необычно). Медленно ползёт он, переваливаясь, по деревне и останавливается у нашего дома. А минут через 10 бежит от речки Лёвушка и кричит: «Тасенька, Тасенька! Дядя Яша прислал за вами машину!» Первая мысль: «Как уехать? Теперь? Да я же не могу оставить огород! В нём — благополучие будущей зимы, а тут вдруг — бросить!» Но потом всё завертелось: приехавшие за нами завхоз и шофёр экспедиции быстро пресекли мои нелепые колебания. Наутро получила я наши сданные было на прописку паспорта, сложились, расцеловались с хозяйкой — и поехали. Да ещё отдал мне колхоз мешок картофеля («за обсеменение» огорода). И это очень удивит Яшу, что его голодающая семья явится к нему со своим картофелем! Так же, как его удивило, что у меня было с собой всё хозяйство: керосинка, примус, кастрюли. Люди ведь ездят в экспедицию на «всём готовом», я же была экипирована скорее как помесь туриста с дачником: начиная от рюкзаков и кончая ночными горшочками.

У. ГРУЗОВИК. БАЛЬЦЕР

И превратились мы теперь из жалких «выковыренных» в «семью главного геолога Олейникова». Мы «больные». Мы ничего не делаем. Мы лежим на мягком сене кверху носами, и нас кормят и везут по России (по той «средней» России, которой мне не привелось до этого повидать, — всё были Кавказы, Хибины, Алтай и т.д.). Нам дают сахар! Забытый сахар. Мы мучаемся от боли во рту, не в силах удержаться от сыра, и мы играем в «да» и «нет», задумывая какое-нибудь лицо. В одной деревне, поев «кислое молоко» (ряженку) своими серебряными ложками, забываем их в мисках у хозяйки и уезжаем. Где-то живут ещё, верно, и по сей день эти 4 ложки моей бабушки Мунц — «вдовы нидерландского консула», как значится в моей метрике.

Проезжали мы город Кирсанов (у меня есть рисуночек собора). Ночёвок наших я совсем не помню. Но вот утром последнего дня пути (а было их 3–4) мы попадаем уже в район путейских работ Яшиной экспедиции. Обедает в столовой экспедиции. И я робко спрашиваю, не надо ли заплатить за еду деньги. Кассирша возмущена: а как же я думала? Даром? Судя по этому, это был первый случай на моём пути (да и раньше, в голодном Ленинграде), что деньги что-то значили реальное.

К вечеру мы приезжаем в Бальцер, а по-новому — Красноармейск. Яши нет. Он приедет утром — и очень испугается, увидев в окно неузнаваемое лицо мамы. Мы — остальные — выглядели лучше. Особенно дети.

И теперь — тоже один месяц — мы живём в Бальцере, пока немцы не стали приближаться к Сталинграду. От этого

я запомнила только ночные осветительные ракеты немцев, спускающиеся медленно на парашютах: мы стояли на крыльце нашего дома и молча смотрели. И ещё: через наш город или мимо него гнали огромное стадо коров — гнали от подступающих немцев. И мы бежали с кувшинами и кастрюлями за коровами. Где-то уже за городом коров доили — прямо на земле. А мы, городские, подставляли нашу посуду. Этот поход запомнил Саша, он был со мной... Было это днём, но было сумрачно, небо заволокло тучами. И даже у меня, легкомысленной, было тяжело на душе.

Бальцер — это республика немцев Поволжья. По другую сторону Волги, против Саратова, город Энгельс — столица республики. Всех немцев отсюда выслали. Говорят, было так: спустили над Бальцером парашютиста, переодетого немцем. И жители его моментально спрятали. После чего все они поехали! Я помню, мне показали раз проходившую где-то у нас за сараями мрачную молодую женщину — это была немка. Но муж её, отец её детей, — русский, воевал на фронте. И её оставили.

Мы жили в одном из брошенных этими немцами домов. Всё было особенное. Во-первых, необыкновенные для русских запоры. И на домах, и на магазинах они поражали размерами и солидностью. Подпол был страшно глубокий и благоустроенный. В таком, верно, и спрятали злополучного парашютиста? Потом — чечевицеобразные котлы, вмазанные сверху в печки и наполненные песком для сохранения тепла. В них же грели, говорят, воду для мытья. И ещё печь, высокая, квадратная, в центре дома с дверцами на 4 стороны в 4 комнаты — очень удобно и странно. Мебель была деревянная, самодельная с претензией на какой-то стиль. А всякие брошенные молотки и другая утварь вызывали грусть и мысль о твоём собственном брошенном доме.

Мы отъедались. Это происходило по старшинству (только наоборот): первая стала гордо отказываться от ужина Ляля. Потом эта сытость дошла до меня и потом лишь до бедненькой мамы.

Снова я заседала огород! Любовалась в огороде на чужие маленькие арбузики — размером с теннисные мячи и уже по-взрослому разрисованные. И всё варила, варила, варила... По вечерам иногда ходила с Яшей на его работу, так как было затемнение и он ничего не видел в темноте (от близорукости? а теперь я думаю, может быть, тоже от невитаминного питания?). На работе я что-то помогала, делала, но помню и в эти вечера свои мечты — всё ещё о хлебе!

Чудное, жаркое лето. Я сшила Сашеньке на руках холщовый синий костюмчик из чего-то папиного. По вечерам из городского сада доносится музыка танцев. Точно нет войны. И доносится то самое танго, под которое я танцевала осенью 1941 года у Жени Парай-Кошица. Кстати, именно тут, в этой немецкой комнате, я читаю первое письмо от Вэры из Казани. Она пишет, что лишь теперь, после моего к ней письма, не осталось больше надежды, что Всеволод жив. Она всё ждала чуда; ведь ошиблись же, — пишет она, — сообщив, что умер Володя Мунц, когда умер наш отец.

Хожу с Сашенькой далеко на колодец, выучившись носить воду на коромысле. Но бабы, настоящие, носят тут коромысло поперёк одного плеча, а в другой руке ещё одно ведро. А я ещё отдыхаю по дороге со своими двумя ведрами. Ставлю их на землю. И тогда Сашенька наклоняется, чтобы попить прямо из ведра, и заранее давится со смеху, так как знает, что только он прикоснётся губами к воде, я тихонько, одним пальцем, толкну его стриженный затылочек и он окунёт нос в воду. Эта игра повторялась всякий раз.

А где же я водила Сашу впервые в парикмахерскую? Вероятно, это было на станции Платоновке: ведь вся наша теплушка кишела насекомыми, и надо было остричь его наголо. Посадили его к мальчику-ученику. Саша сидел тихо, только всё ниже и ниже опускал голову, а его «мастер» опускался за ним тоже всё ниже и ниже, и закончили они операцию где-то уже под столом.

Саша ни с кем не играл. А были в Бальцере два соседа, мальчики-близнецы, рыженькие. Я уговорила Сашу играть с ними. И вот вижу: мальчики играют, а Саша сидит на брёвнышке. Смотрит. Посидел-посидел, пришёл ко мне и говорит: «Я поиграл с мальчиками».

В общем, жизнь в Бальцере была отдыхом. И мне кажется, что она длилась гораздо больше месяца. Но, когда взошёл этот, мой второй, огород (маленький), мы опять бросили его и поехали от немцев с сотрудниками «Бам-проекта» в город Буинск Татарской ССР — центр экспедиции «Свияжск—Ульяновск».

VI. ОТЪЕЗД В БУИНСК

Сначала поездом добрались мы до Саратова, чтобы там ехать дальше Волгой. Но ждали мы, ждали парохода — а немцы бомбили эту трассу, и изо дня в день откладывался наш отъезд.

Жили мы в Саратове — вся наша большая семья и ещё разные сослуживцы Яши — «на квартире» у каких-то людей. Было симпатично. Все — в одной просторной комнате, в чужих этажерках, фотографиях, фикусах, точно засидевшиеся до утра гости. Я даже умудрилась сходить в Саратовский музей. И потом, через много лет, попав в тот же музей, когда мы ехали с Фефой «Москва — Астрахань — Москва», я очень хорошо всё помнила: такой светлый не провинциальный музей с хорошими картинами. Да и весь Саратов — очень славный город. Этот музей, его посещение, было островком из прошлого в моей бродячей жизни. А весело было потому, что жили там с нами славные люди и был очень весёлый Яша. Всё шутил с Сашей: «Ах! Сердце, сердце...» И рассказывал ему нескончаемые истории про охоту на слонов и бегемотов — в духе Мюнхгаузена. Так просидели мы, ожидая у моря погоды, дней 5–6. Плюнули и поехали поездом в Буинск. По дороге в поезде у мамы украли её знаменитый казакин, опушённый марабу. Яша был очень, шумно доволен, так как казакин ужасно надоел ему. И хохотал, что больше его не будет.

Наконец, Буинск.

Тут мы проживём год. И я прослужу в Свяжской экспедиции в качестве чертёжницы ровно год — день в день. Единственный год службы в моей жизни (если не считать

двух экспедиций — Буреинской и Амурской — до этого). И тут я впервые пойму, что скука — это не когда тебе нечего делать, а тогда, когда надо делать всё время скучную работу. Но эта скука тоже недолго продолжалась: как только начальство разобралось, что я чертёжник плохой (чего стоили мои шрифты на чертежах!), а что я художник-график, меня перевели в Бюро оформления — так это, кажется, называлось — во главе с архитектором Апресяном (высокий, бледный, с ассиро-вавилонской бородой и женственными руками). Тут уже, в этой комнате, фамилия Мунц для архитекторов не была пустым звуком. Занято бюро это было тем, что оформляло альбомы железнодорожных проектов для начальства в Москве.

Кому нужно было это парадное оформление во время войны? Мне кажется, больше всего этой самой группе архитекторов и чертёжников, находящейся в нашей комнате. А состояла наша группа в основном из жён, вывезенных в состоянии дистрофии из Ленинграда, уже отъездивших, но полных страшных воспоминаний. О блокаде говорить запрещалось. Все потеряли там кого-нибудь из близких. И даже грудных детей, как Нина Неокесарийская: родила, положила и смотрела, как он умирает, — у неё не было ни капли молока. Зато иногда пускались в сладостные воспоминания — как кто жил до войны. И получалось так, что все были так богаты, так благополучны, так обставлены! Даже тогда это смешило меня и трогало. Любая брошенная этими людьми кофейная мельница, зеркало — милые привычные скромные вещи — казались стоящими отдельного рассказа.

Работали мы в этом, повторяю, по-моему, никому не нужном бюро днём и вечером (война — всем тяжело, и нам действительно это было тяжело). Работали по вечерам при большой керосиновой лампе-«молнии».

Надо сказать, что время от времени кому-нибудь в нашем большом учреждении приходило время рожать. Приехавшие к мужьям после блокады жёны быстро и совершенно неприметно беременели. И понимали, что это так, когда было поздно что-либо предпринять.

В маленьком городском роддоме было тоже темно. И после какого-то печального случая при родах из-за плохого освещения нашу лампу-«молнию» стали торжественно относить в роддом при каждой новой необходимости. И мы тогда — ура — гуляли по вечерам! Естественно, мы были живо заинтересованы в прибавлении детей в нашей Свяжской экспедиции.

Поселились мы сначала временно, пока не нашли домик по своему вкусу. Вернее, по моему вкусу, дурацкому и очень непрактичному! Это было у сапожника — татарина Абдулы, пьяницы. Домик был крошечный — очень мило для сказки или для рисунка. И ещё можно было в нём всё разложить, развесить и сесть сложа руки. Но жить, то есть готовить, двигаться, мыться, спать, заниматься, — для всего этого не надо было гоняться за «уютным» домиком. а что-то, побанальнее, покрепче и, главное, попросторнее было бы гораздо лучше (так и поселились другие, умные жёны).

В устройстве этого нашего жилья полностью проявилась моя страсть всё подвешивать. (Может быть, это атавизм? Уж очень много было моряков среди Мунцев.) В связи с этим запомнилась мне Яшина фраза: «Ляля, пожалуйста, дай мне мою кепку. Она висит на гвозде № 478 А». Это было сказано после того, что всё было мною устроено и прибрано в доме.

Яша прожил тут очень мало — его неожиданно откомандировали в Томск. На этом мы с ним расстались. Как потом оказалось — навсегда.



«Аутарак». 1958.

VII. ЗИМА В БУИНСКЕ

И потянулась моя нелегкая буинская зима.

Ляля поступила в школу снова после пропущенной зимы 41–42 годов. Её приняли тут как отличницу (ленинградка!). И правда, она приносила прекрасные отметки. Между прочим, учила Ляля в эту зиму «Песнь о вещем Олеге» и твердила это вслух наизусть. Саша слушал. А потом, уже в Москве, смеясь, рассказывал мне, что при словах: «Вот едет могучий Олег со двора, с ним Игорь и старые гости» — он представлял себе, как вся эта компания с Олегом лезет на грузовик.

Когда я по утрам бежала на работу по деревенским и подеревенски широким улочкам Буинска, я смотрела с завистью, как домовито, столбиками вверх, поднимаются дымки над всеми избами. У меня, я знала, нет дыма. Мама лежит, укрывшись «белочкой» (это была мамина тёмно-лиловая шуба, подбитая белкой), в остывающем нашем доме с Сашенькой, пока не придём мы — я или Ляля — и не затопим печь. Топка была у самого пола, и было очень тяжело видеть, как мама на коленях неумело орудует с угольями.

Когда дрова кончились, я купила на рынке воз соломы. Он был туго связан. Но, когда хозяин вывалил всю мою покупку перед нашими окнами, я поняла, что никогда ещё не обладала чем-либо в таком объёме — гора получилась в два раза выше нашего дома! Сжечь этой соломы надо было сразу очень много, охапку за охапкой, и тогда всё-таки немного теплело в доме.

Время от времени у нашего хозяина, Абдулы, начинался запой. Жена с детишками (звали её Осма) убегали

к соседям, иногда среди ночи. Между нашими комнатами была забитая гвоздями дверь. На нашей стороне я устроила вешалку. И вот однажды — меня не было дома — дверь со всеми навешанными на неё вещами дрогнула, затрещала и приоткрылась и в щель просунулась страшная пьяная рожа Абдулы. Как уж мама с Лялей справились с ним, не знаю. Мама, человек не трусливый, с ужасом рассказывала об этом.

Продукты мы получали в служебном магазине. Помню очереди. Милую продавщицу, жену одного инженера Валю Пикуль. Обеды носили из столовой. За обедом ходили Ляля с Сашенькой. Кажется, и мама иногда. Саша, несмотря на свои почти 4 года, охотно надевал Лялину белую муфту. И, несмотря на такое отсутствие мужественности, влюбился именно там, в очереди в столовой, в Лялю Приступову. Она была, правда, очень красива. В день своего рождения (4 года) Сашенька так и сказал бабушке: «Не говори никому, бабушка, я люблю Лялю Приступову». Ей было лет 12.

Обеды в столовой были весьма посредственны, и из вечно скисшего картофельного пюре я выучилась, прибавив соды, печь оладьи.

По воскресеньям я отправлялась на базар тут же за нашим домом. Продавала очередную мамину простыню — как это шло! Или ниточку кораллов, розовых, «венецанских», которые я понемногу отщипывала от длинной нити моей бабушки (остаток теперь у Леночки Минаевой, если она не подарила кому-нибудь).

По рынку все татары бродили, жуя белую смолу, как американскую жвачку-резинку. И мне всегда казалось, что эти белозубые, румяные и низкорослые девушки, заглядывающиеся на мои кораллы, так белозубы именно от этой смолы. Может быть, правда?

Раз я решила сделать большую закупку картофеля. Сколько я снесу? Я весила всегда около 50 кг — значит, я смогу снести 50 кг. Почему я так решила? Но так я и купила. И попросила знакомого взвалить мне мешок на спину. Он удивился — и не согласился. А я так и тащила «за хвост» мой мешок по земле до дому.

В доме, конечно, подпол. Саша играет в кладовщика. Зовут его Иван Павлович. «Иван Павлович, будьте добры, достаньте нам капусты» — «Спасибо, Иван Павлович». Это мамина игра.

А вот воспоминания самого Саши: у нас был плед с кисточками. И я время от времени отрезала такую кисточку для фитиля в керосиновую коптилку — это опыт голода и холода 1919 года. Изобретение моего папы — светильничек в баночке из-под туши, пробка, стеклянная трубочка и даже проволочный регулятор. Этот плед с поредевшими кисточками ещё долго жил у нас в Москве. И ещё Саша помнит, как я смастерила ему в Бальцере сандалии на верёвочной подошве. Тоже опыт времён революции (прекрасная вещь, между прочим, — нужны только настоящие верёвки!).



Новый год. На службе затевается ёлка. Я — в комиссии.

Сначала мы пытаемся клеить игрушки вечерами у Надежи Фёдоровой (ещё только этого мне не хватало!). Но потом кто-то из мужчин поехал в командировку в Ленинград, как уж — не знаю. И, походив там по магазинам, ничего не увидел соблазнительного, кроме огромных наборов ёлочных игрушек. Навалом! Так он и купил несколько коробок («для детских домов»).

И мы закатали ёлку (кстати, это была огромная сосна). Напекли в столовой детям забытые ими булочки. Все дети

говорили стихи, после чего получали гостинцы. Тут отличился мой Саша.

Дело в том, что он заранее выучил с бабушкой стихи Маршака «Старушка пошла продавать молоко». Но училто он эти стихи, всегда лёжа с бабушкой «под белочкой» в холодном нашем доме. А уж вечером было не до репетиций. Только накануне ёлки у Фёдоровых, сидя у меня на руках, он прочёл начало, старательно отбивая такт стихов головой. Я сказала ему: «Не надо так качать головой». Но на ёлке он стоял торжественно, один на каком-то большом ларе, и начал: «Старушка пошла продавать молоко» — на каждом ударении не то что качая головой, но сгибаясь почти пополам! Поднялся страшный хохот, его сняли после первой строфы и выдали подарок. Как он ревел! Неутешно. Ведь выучил он всё длинное стихотворение! И успокоился, лишь когда, сидя у меня на руках, весь мокрый от слёз, прочёл всё до конца Макавееву — нашему начальнику экспедиции.

Вместе с гостинцами детям дарили и игрушки с ёлки. По 3 блестящих игрушки. Так у Ляли с Сашей оказались 6 блестящих игрушек, после чего было решено сделать ёлку и дома для соседских татарских детишек.

Свечей, конечно, не было. Жили ведь мы с коптилками. Но и керосина в этот день не оказалось. Зато были спички и старые газеты. Все сидели в полной темноте по топчанам и табуреткам, и время от времени я зажигала полоску газеты — ёлка освещалась, игрушки блестели, и все были в восторге. Были подарки — карандаши и тетрадки. Были наготовлены бутерброды — в лучших традициях! Маленькие, аристократические бутерброды с варёной свиной. Не подумала я о магометанстве наших гостей, но они тоже забыли о нём! Всё шли и шли какие-то крошечные татарские старушки, теснились в дверях, тянулись к тарелке

с бутербродами. Девочки выступали — для пенья ведь света не нужно, а танцевать можно тоже «на веру», в темноте.

На следующий день сосед-татарин (такой почтенный отец двух чистеньких девочек) говорил мне: «Ну и ёлка была у вас! Роскошь, а не ёлка! Роскошь!»

Между прочим, нас, русских, татары считали грязнулями: ходим мы по полу, не снимая обуви! Да и какие страшные полы у нас!

А нам, русским, было страшно смотреть на их посуду — чайники и чашки были всегда невымытыми, чёрными у ручек. Зато полы у татар белоснежны, правда.

Наша «служба» помещалась в большом новом двухэтажном рубленом доме (школа это должна была быть, не знаю.) Отопление, конечно, печи. И вот во второй половине зимы я наладила такое кормление своей семьи! Я приходила на работу чуть пораньше и засовывала в разные печи котелки свои с сырой картошкой, кашей, щами и т.д. Во время работы я потягивала тихо носом: не пахнет ли уже? Не горит ли? Двигала их туда-сюда. В обеденный перерыв всё запихивалось в сумку (серая холщовая сумка с вышитыми на ней вилкой, ложкой и ножом — мой подарок маме, когда мне было лет 7, Фрушка нарисовала; такая ненужность — теперь пригодилась), и я летела кормить своих. Ляля приходила из школы, было весело и вкусно. «Мать-кормилица», — говорила мама.



«Аутарақ». 1958.

VIII. КАЗАНЬ

В эту зиму было одно событие — оазис для меня во всей нашей эвакуационной жизни. У Саши нашли плоскостопие и велели заказать ему супинаторы. Мне дают отпуск. И мы едем с ним в Казань! К Вере! Сначала находим родителей Порай-Кошиц, живущих при каком-то институте (помню маленького «Алёшу большого»), а потом попадаем к Жене и Вэре. Живём мы у них на берегу речки Казанки.

Деревянный, совсем не городской дом. Там я познакомилась с Никитой Толстым. Он оказался утром ночующим на полу в моей комнате. Проснулся, надел очки и представился мне. Когда оделся, оказался худеньким военным. А потом уже через день распевал на мотив матчиша: «Все дамы и бароны у нас ночуют и, снявши панталоны, матчиш танцуют!»

Опять, как всегда, не помню, сколько времени провели мы в этом милом доме? Дней 5–6? Пока изготовлялись Сашины стельки.

И было в эти дни великое торжество — в этой квартире праздновалось одновременно: дедушка получил академика, Боря — лауреатство, Женя защитил кандидатскую, а Миша окончил вуз. Яства были невиданные, составные столы ломились. А под столами ползали маленькие Алёша и Саша.

Были мы с детьми в заезжем зверинце. Он помещался в очень неподходящем помещении, похожем на обыкновенную квартиру с запихнутыми туда клетками. Мартышка сидела в клетке, в каких держат канареек, и она висела на стене. Одна тётка дала мартышке петушка на палочке, которого та моментально закопала под соломку в углу

клетки. А посидев не более трёх минут, решила достать своего петушка и стала искать его уже в другом углу. Ищет, ищет, а слёзки бисером из глаз! Не помнит ли это Саша?

А ещё мы, взрослые, ходили однажды в цирк. В цирке было почти пусто и очень темно (война). Сидели в первом ряду. Много было дрессированных слонов, которые, между прочим, ловко садились на розовые тумбочки. А стул с великим треском сломался не под слоном, а под Никитой Толстым. Странно! Он же был тогда худым?!



Поближе к весне Надюша Фёдорова сняла мне новое помещение, пришла сама с санями, погрузила и с властной добротой перевезла нас. Дом этот был недалеко от работы — половина большой комнаты, переделённой занавеской, и маленькая комнатка для мамы, оклеенная газетами, я расписала её потом синей акварелью наподобие корзиночки. За занавеской жила некая дама, кудрявая весёлая блондинка Олимпиада Ивановна, дочь её постарше Ляли и маленький Павлик — тот, который сказал как-то моему Саше: «Открой рот и закрой глаза» — и положил ему в рот дождевого червяка. Саша ревел. Я недостаточно сочувствовала ему. Саша объяснял в слезах: «Но ведь он же кислый!»

А дочь соседки пела: «Ну-ка, чайка, отвечай-ка...», и мотив этой песни связался для меня с весной, и надеждами на что-то хорошее, и радостью, что жизнь стала легче...

Тем не менее по ночам мы воровали с Лялей доски с мостков-тротуаров. Днём, проходя по ним, я коварно нащупывала ногой, какая доска качается, не прибита. Доски были огромные, сухие, и каждой доски надолго хватало нам.

Тут в этом доме болела мама: было рожистое воспаление. Приходил шикарный врач Думбадзе (сосланный, что ли, сюда?). Был он толст, по-кавказски великолепно сидел

в пролётке (единственная пролётка, что я видела в Буинске) и повторял мне за стеной, чтобы мама не слышала: «О чём говорить? Природа делает свое дело! Она так стара». А мама прожила после этого ещё добрых 18 лет. Позже летом он же делал маме операцию — подшивал какие-то опустившиеся внутренности. За что мама послала ему папину булавку для галстука — золотая орлиная лапа с бриллиантом. Жест был шикарный, и вещь уместная для хирурга.

Потом и я заболела тяжелейшей малярией, ст. 40°. А перед этим стоял вопрос, чтобы нам всем ехать к Яше в Игарку, в Заполярье. Мне так этого не хотелось! Хотелось на запад, к друзьям, к работе и прежней жизни! Во время моей малярии уходил эшелон оставшихся сослуживцев на восток, и Ляля поехала в Магадан к тёте Шуре. С начала войны Шура, сестра Яши, присылала нам (и не нам одним) ежемесячно деньги — 1000 р. Помню, в Ленинграде на первые 1000 р. я купила буханку хлеба. Это было в те времена, когда из нашей квартиры на Большом выносили люди зеркала, амбирные вещи, папин письменный стол красного дерева, и всё это — буханка хлеба, и всё. Потом Шурины деньги всё находили нас по нашему пути и стоили всё дороже и дороже. Когда Ляля уехала от меня, деньги пришли опять. Тогда я написала Шуре, что благодарна ей, но не чувствую больше себя вправе получать деньги, раз Ляли нет. Шура перестала посылать, но, кажется, обиделась. Жалко! Я не хотела этого. Я была ей очень благодарна.

Было Ляле тогда 14 лет. Она одна должна была добраться от бухты Находка к тёте в Магадан. Перед отъездом, когда я лежала в малярии, Ляля носила воду из колодца в большую бочку — носила, носила, и мне казалось, ей хотелось наносить мне воду на всю оставшуюся мою жизнь.

Вот тут у меня всё немного спуталось. Но кажется, что ещё до моей болезни произошло вот что.

Однажды вечером я услышала за окном насвистывание: так свистел только наш отец и мы с Володей — особым сигналом. Я обомлела. А потом услышала: «Тасюк!» Дальше снова пробел. Только помню, что стоим мы у комода и я чиркаю и чиркаю драгоценные спички, чтобы убедиться, что это он, он! И не тот, что остался в моей памяти после проводов на Финляндском вокзале, а прежний Володя. Проводы! Эти проводы скорее напоминали выталкивание в окно человека из горящего дома: может быть, разобьётся, а может быть, и нет — а в доме сторит обязательно.

IX. ВОЛОДЯ

Когда была объявлена война, Володя сразу же, 23-го утром, пошёл записываться добровольцем (маме, видимо, не приходило в голову, что можно было поступить иначе).

В военкомате, узнав о его знании языков, записали его в спецчасть и велели ждать. Потом, кажется, по линии какой-то другой своей работы, он снова пошёл записываться. Там справились в списках и сказали: он состоит уже у них на учёте, и просят его ждать.

В Академии художеств отправляли студентов на рытьё окопов. Ехала Тамара. Он как преподаватель Академии решил ехать туда. Помню его, радостно машущего снизу нам, стоящим на балконе, помню его весёлое лицо, сидящую голову. Тут уже мама тихо повторяла: «Ах, старый дурак...»

Тамара и другие студенты давно вернулись — а Володя всё копал. А, собственно, копать он и не должен был, так как был там «начальством», но он был он. Сменялись студенты. Наконец Володя вернулся, совершенно распухший от голода.

Дальше всё было хуже и хуже. Он еле ходил. Он не позволял кормить его особо. Я жульничала. Я разыгрывала порции между нами, подсовывая ему большую. А.А. Оборин устроил его работать (механиком) на хлебозавод. Ему сразу же стало лучше. Он ел там корки, приставшие к поддону. Он приносил домой в носках, пристёгнутых в карманах, то, что они вытряхивали из пустых мешков, — муку с верёвками мешковины. Мы просеивали её на рояле. И что-то получалось.

Раз пришёл сияющий: «Гитлер прислал вам угощение» — и вытащил 5 галок и одного воробья (по количеству едоков!), убитых бомбой во дворе хлебозавода.

Вскоре всё кончилось: завод был далеко, трамваи стали. И ему пришлось только один раз прийти домой пешком. Всё — он слёг.

Зимой организовался стационар в «Астории». Туда взяли архитекторов рудневской мастерской — но только ходячих! Я собирала туда Володю. Я мыла его. Никогда не забуду. Такое можно было увидеть потом только на фотографии фашистских лагерей. Надели Володе папины хорошие валенки и пошли. Утром, в темноте. А на Николаевском мосту шли так: впереди Володя, сзади я, толкая его в спину (подъём!), а позади торопится, идёт, скользит, падает мама. Зачем? Не знаю, зачем она пошла. Видимо, «проводить». В «Астории», когда его записали и я стала снимать с него валенки для отца, он упал и встать уже не мог. Чуть-чуть всё не сорвалось: «Что такое? Он неходячий?» Лестница на верхний этаж. Темно. В этот день отключили электричество и в «Астории». Какие-то аккуратные палочки, точно для мороженого, как лучины, у всех в руках. Окна затемнены.

Крёстный путь наверх!

И всё-таки «Астория» спасла Володю! Ему давали там ежедневно чуть-чуть вина. Сахар.

После «Астории» его ещё поместили в стационар в Доме архитекторов. Оттуда Володя прислал нам записку с незнакомой девушкой: «Ради Бога, что с вами? Об отце всё знаю». А мы ничего не знали! Я ведь тоже уже несколько дней как лежала. Девушка сказала нам, что отец умер. Моя первая мысль: значит, в нашей семье это началось с отца.

Вскоре я узнала, что какая-то архитектурная дама, у которой дочка в Емуртле, в лагере Архитектурного фонда,

едет туда и была бы рада спутнику. В Емуртле находилась Сима, работавшая там врачом, с двумя дочками — Леночкой и Мариной, и я решила отправить туда Володю. Володя терзался: как он оставит нас? Я уговорила его. Проводила на Финляндский вокзал.

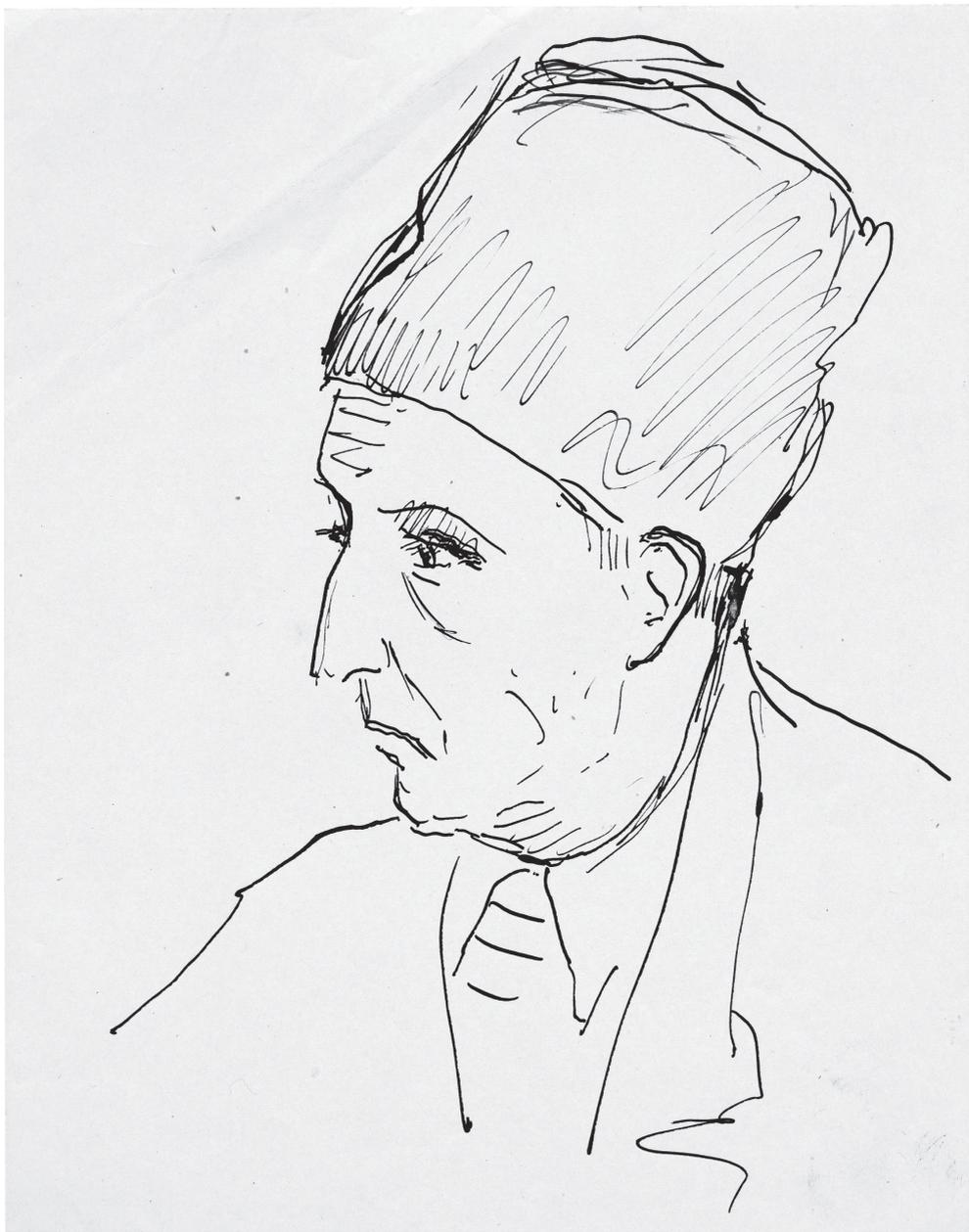
Шли, конечно, пешком. С саночками. На Большом проспекте Петроградской стороны полуживые женщины скалывали снег на панелях. Всё было в глубоких ступенях. Мы мучительно преодолевали эту часть пути: надо было то втаскивать санки, то спускать и толкать Володю.

На Финляндском вокзале я провела с ним ночь и часть дня. Посадки не было, больше я не могла оставлять одних детей и маму. Благословила его — и ушла. Вот таким я его запомнила (спутница Володина умерла в пути от тифа).

А теперь он стоит передо мной, живой и здоровый!

Помню свои вопросы: «Ну как, сыт? Какая у тебя карточка? Сколько же ты получаешь?» Он назвал мне вес хлеба, который ему выдают, а об остальном сказал сконфуженно: «Не помню». И это — вторая радость для меня: он не думает больше о еде! Он совсем, совсем прежний!

Володя пробыл у нас недолго, а к осени он приехал за мамой с пропуском.



«Мужчина в папаче». 1960-е годы.

Х. МАЛЯРИЯ

Но возвращаюсь к своей малярии. После Лялиного отъезда решено положить меня в больницу. Везут туда на телеге (очень коряво и тряско — вероятно, легче было бы идти). Врачи в больнице — «спецконтингент», то есть наши, русские, немцы, изолированные таким образом во время войны. Врачи блестящие (между прочим, многие дамы нашего «Бампроекта», более разумные и, следовательно, более благополучные, чем я, перелечили у этих врачей себе великолепно зубы, со всякими первоклассными коронками и т. д.).

Итак, привозят меня на телеге. Я сижу в кабинете. Темно. Врач-блондин пишет спиной ко мне. Имя? Температура? — 40. А сейчас? — 40. Как, сейчас? Немедленно уложить! Эта была «тропическая малярия». Лежу в уютной маленькой палате с девочкой. Поят хиной и кормят супами из «баранчиков», такая трава, которая растёт тут же, за моим окном, и кругом всюду. Лежу с неделю.

А в это время незаменимая Надюша Фёдорова снова перевозит маму и Сашу в новое помещение — бывшая столовая нашего учреждения (ведь почти все сотрудники уехали с эшелонам в Заполярье, столовая закрылась). Жить мы тут будем в огромной комнате, просто вместе с разведённой семьёй путейца Григорьева: очаровательная тёща Зинаида Васильевна, умная и милая, потом дочь её — не совсем полноценная Наташа, и дети — Слава и Ляля. За занавеской ещё живет бой-баба, красивая, не то завхоз, не то завстоловой, с двумя племянницами.

Григорьевы настолько симпатичны, что обедать и ужинать мы будем стараться всегда вместе, за одним столом, для веселья.

Когда меня выписали из больницы, я пришла сама на шатких ногах в свой новый дом. Саши не было. «Саша ушёл в кино, — сказали мне, — на фильм “Актриса”».

Но это было не первое его кино, где-то уже в эвакуации — наверное, всё на той же станции Платоновке — мы пошли с Лялей и с ним на «Суворова». Мне казалось, что ему будет интересно: война, скачущие лошади... Но Сашенька весь сеанс не отрываясь смотрел на светящиеся буквы «Запасный выход». И там же, в Платоновке, мы смотрели с Лялей «Леди Гамильтон» (всюду жизнь!). Потом в это лето Фёдоровы взяли Сашеньку купаться в первый раз на речку. Вернувшись, он мне сообщил: «А ты знаешь, мама, вода, оказывается, тяжёлая!»

ХІ. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

И вот теперь это мой последний период эвакуации. Лето. Снова огород. Но, право, это не я одна такая сумасшедшая, как кажется это мне теперь, когда я это пишу. Ведь все тогда не представляли себе, как можно не иметь огорода? Картофеля? Мы все копали весной свои сотки, и всем миром копали мы для Притуповой — муж её болел.

А вот работы совершенно не помню, но, видимо, я числюсь на работе, так как увольняюсь я лишь перед самым отъездом. Это я помню.

Саша бегает с соседскими мальчиками. Жарко, хорошо. Перестал спать днём, а то спал уже по 4 часа. Когда поранится, приходит, хныча, просит помазать йодом.

Празднуются мамины именины — Фёдоровы, Григорьевы, соседи. После ужина я сижу в сумерках высоко на верху лестницы, прислонённой к сараю, и пою всё, что знаю. (Я всегда любила петь, когда гости разговаривают.) Помнит ли Надюша? Больше ведь некому.

Приходит время копать картофель. Всё выкопано, ссыпано в мешки, но вывезти с поля мне не удалось: транспорт дадут только завтра. Я иду в ночь стеречь свои мешки. Мама даёт мне свою лиловую шубу. Ночью холодно. Я предвкушаю поэтичную ночь. Звёзды. Рассвет. Птицы. Но не тут-то было! Мать Надюши Фёдоровой, Мария Эрнестовна, заявляет, что это безумие. Нельзя одной ночевать в поле! И, к моему ужасу, является ко мне и сидит со мной на мешках. До рассвета. Я ненавидела её. Я чуть не ревела. Я умоляла её уйти. Я от злости не спала. Потом спала. А она всё сидела, как большая молчаливая птица,

исполненная чувства долга. Всё пропало: и поэтичная ночь, и рассвет, и туман... всё к чёрту. Но я была жива и нередима.

В эту осень я объявила (крик души): «Хочу мужа-шофёра!» Шофёр во время войны представлялся самым могущественным существом. А я так устала быть столько времени единственной физической силой в семье. Тяжести, копанье, дрова, дрова — твёрдые, дубовые. Они так не даются, так отпрыгивают, когда готовишь их для печурки.

Потом снова приезд Вовочки за мамой. Он попал на именины к Фёдоровым, следовательно, это было 30 сентября.

После отъезда в Москву мамы и Володи мне надо было получить ещё пропуск из милиции города Буинска (а вызов от Володи был). И тут мне сослужили службу руки. Ещё зимой пришёл ко мне наш фотограф — рыжий, длинный, довольно нахальный — и говорит: «Вот тут начальник милиции просит сделать увеличение с фотографии его сына, убитого на войне. А фото очень маленькое и плохое. Не можешь ли его подретушировать?» Я сказала, что ретушировать не умею, а вот сделать просто рисунок, портрет, могу. Это было нетрудно. Сделала. Так вот, теперь я пришла к этому начальнику милиции и прямо всё так и сказала: «Это я нарисовала вам портрет сына, а вы, пожалуйста, дайте мне пропуск в Москву». Дал. (Интересно: а что, наш фотограф тоже не бескорыстно действовал тогда?)

Поехали мы в Москву в теплушке, которую дали специально для семьи Татаринцева. Это путеец, главный инженер «Бампроекта», которого я помнила ещё по Дальнему Востоку. Хороший дядька. В Буинске жили его падчерица Алевтина да сестра жены Лидии Ильинишны — Иловой-ская. Вот с Иловой-ской мы и поехали.

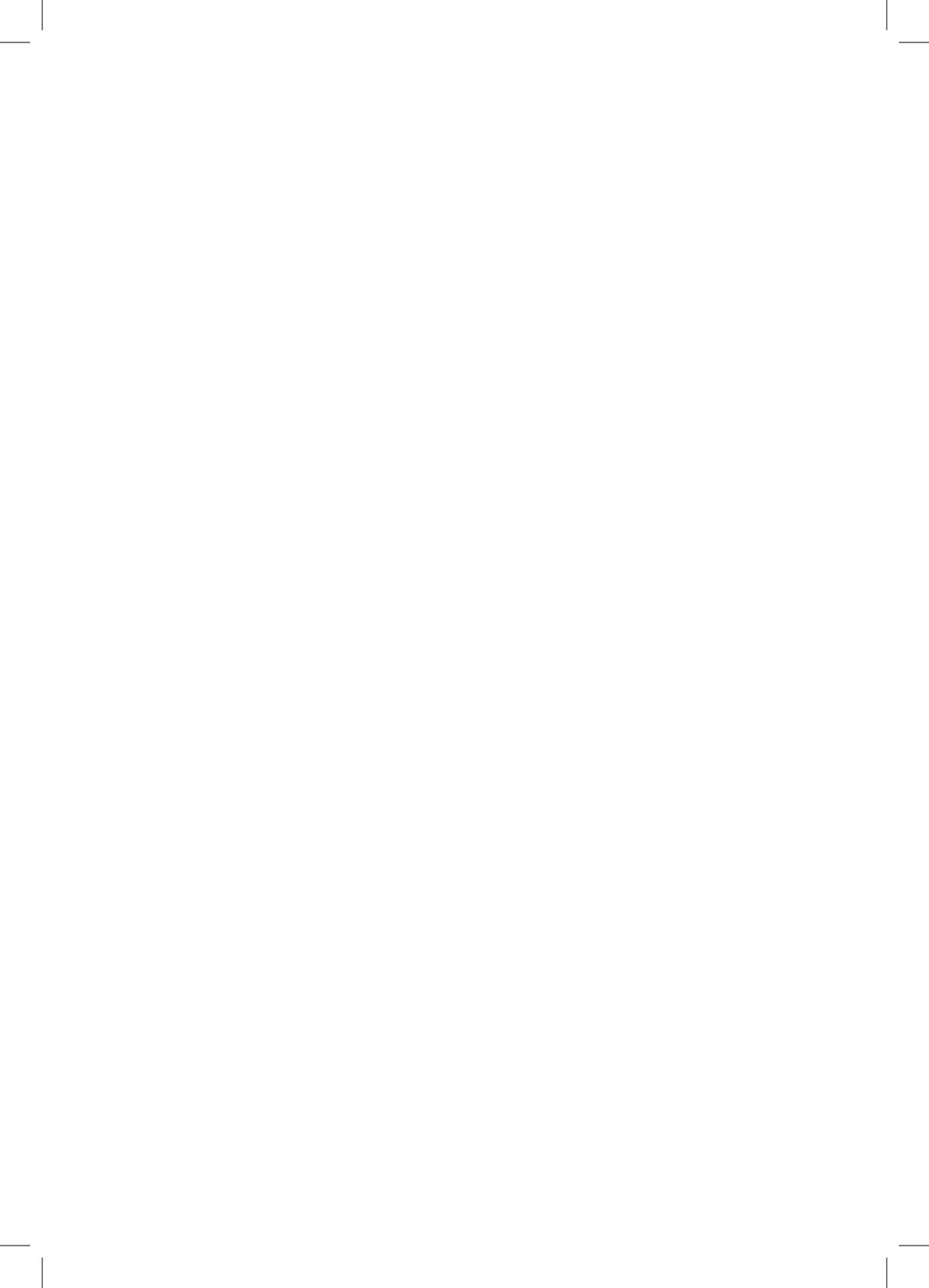
Вещей в теплушке было очень много, так что я лежала с Сашенькой слева, высоко на вещах.

Ехали долго. По дороге я очень разбилась, упав вместе с плохо приставленной лестницей, вылезая из вагона. Помню, как болела спина, когда я лежала ночью и думала о всех, кого я увижу в Москве.

Когда мы приехали, наш вагон поставили далеко на путях. Мы идём по шпалам. Утро. Солнце. Вдалеке — шпили Казанского вокзала. На Сашеньке новые туфельки, жёсткие и скользкие. И в метро с непривычки к гладкому камню ножки его разъезжаются. А когда мы сели в вагон метро и поезд уже двинулся, Саша спросил: «А когда мы поедем?». Вопрос был понятен после привычного грохота теплушки.

Мы отыскивали Володю и маму в домике у Крымского моста, на втором этаже. Потом ещё я ездила с Володей за нашими вещами. Помню возвращение с вокзала: я стою за кабиной грузовика. Ветер дует в лицо, и летит навстречу широкая Садовая. И я думаю: «Ну, вот и всё. Конец. И начало новой жизни».

*Москва.
Январь – август 1974 года.*



О Наталье Оскаровне Мунц

Когда в 1945 г. умерла моя мама – Серафима Алексеевна Оборина, – главным моим воспитателем стала сестра моего отца Наталья Оскаровна Мунц, жившая со своим сыном Сашей Олейниковым с нами в одной квартире. Она была первым художником в моей жизни, я воспринимала её как абсолютную данность.

После войны, переехав в Москву, Тася (так Н. О. звали домашние) много работала над оформлением книг в разных издательствах: в Детгизе, затем превратившемся в «Детскую литературу», в «Иностранной литературе», «Искусстве» и др.

Так случилось, что я стала её первым «редактором»: если у Таси было несколько вариантов эскизов, она меня призывала, чтобы я выбрала казавшийся мне лучшим. И зачастую мой выбор совершенно совпадал с мнением главного художника «Детгиза» С. М. Алянского.

(Кстати, однажды – мне было 5 лет – я пришла к тётушке и сказала:

– Тася, а про тебя сейчас пели по радио.

– Да?! Что же?

– Алянская дева.)

Каждое лето ездили на дачу. Три подруги-художницы – Ираида Ивановна Фомина, Марьяна Викторовна Борисова-Мусатова (дочь Борисова-Мусатова) и Наталья Оскаровна Мунц – снимали дома в одной деревне и вывозили туда своих детей и матерей. Это было очень удобно. Сделав и сдав очередную работу, художницы ходили на этюды – так повелось с 1945 года. От тех лет остались великолепные акварели: деревня Сходня, деревня Лопатино, село Степановское... Кроме того, сохранились замечательные карандашные рисунки с натуры: избы, деревья, пейзажи...

Характерная примета тех времён: художники, где бы они ни были, не расставались с блокнотами-альбомами. Так и у тётушки осталось множество рисунков российских городов и весей: Львов, Тутаев, Углич... И ещё огромное количество портретов – случайных попутчиков, и друзей, и своих-чужих детей. Есть портреты, более тщательные, дольше рисовавшиеся, – матери, сына, мужа.

Но я всегда знала, что самой любимой для Натальи Оскаровны была работа над иллюстрацией к детским книжкам, что получилось, надо сказать, не сразу. Если не ошибаюсь, первым удачным опытом оказалась «Маша обедает» Сильвы Капутикян, после чего для Таси открылась возможность этого вида творчества и более 20 детских книг, иллюстрированных ею, увидели свет.

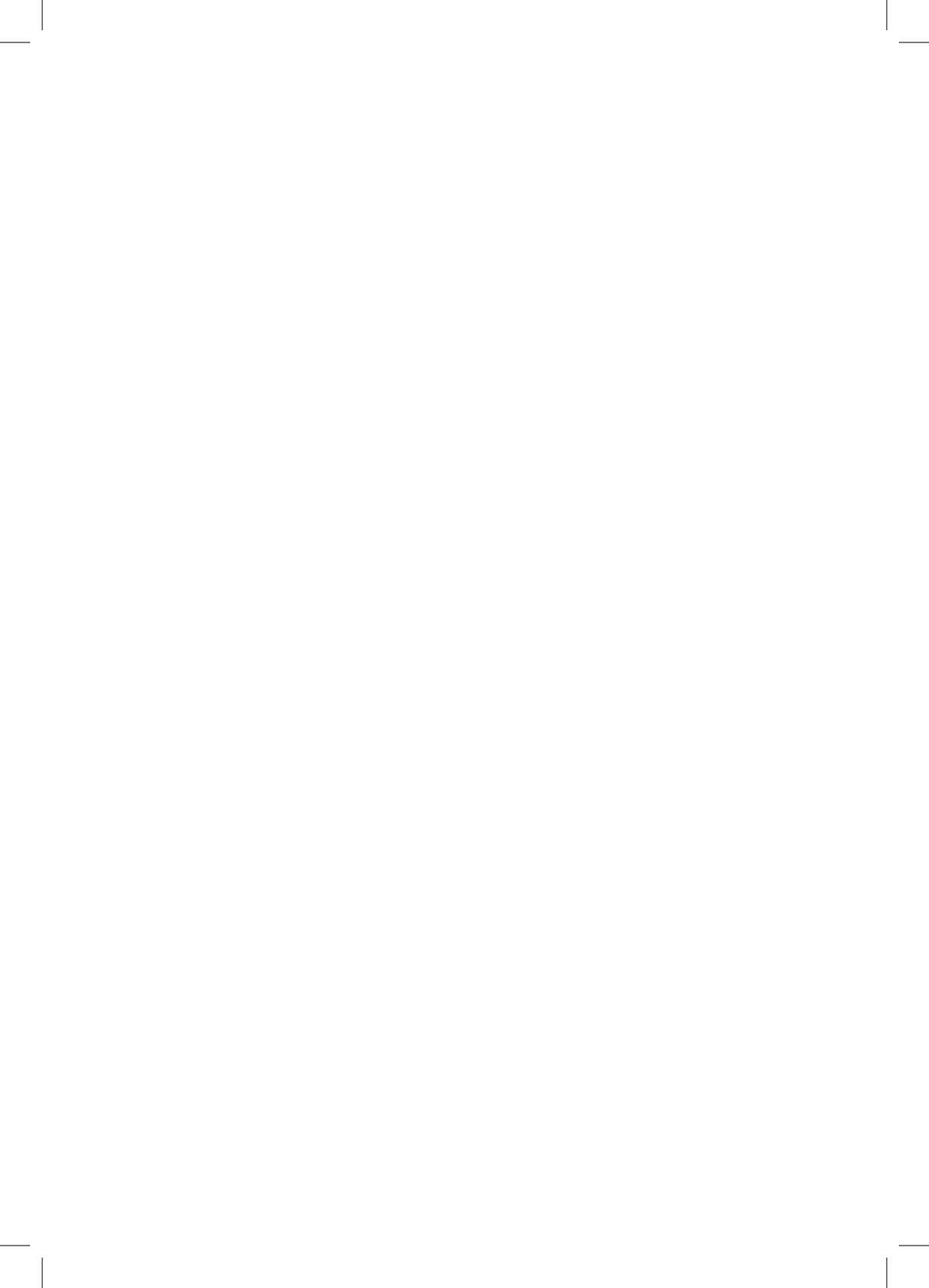
Вот когда тётушке пригодился дар замечательного рисовальщика-анималиста. Сохранились бесчисленные наброски с животных – собак, кур, кошек, птиц и кого только не...

Я наблюдала за этим в течение всей Тасиной жизни – её творчество было для меня естественным, привычным, ежедневным процессом. Часто Наталья Оскаровна сетовала на «ограниченность» своих возможностей, приводя в пример более успешные карьеры подруг-художниц. Я принимала такие её настроения как естественные, и вот теперь, в течение 30 лет, прошедших после смерти Натальи Оскаровны, часто перебирая её работы, раз от разу понимаю, что они становятся для меня всё более значимыми. Их внешняя скромность оборачивается истинной эмоциональностью, и всё больше поражает их высокий профессионализм. Меня мучают сожаления о прошедшей для искусства эпохе, когда художники такого уровня, как Тася, были явлением достаточно обыкновенным. «Моды» и «веяния» уходят – настоящее искусство остаётся.

Хотелось бы, чтобы эта книга пробудила интерес к творчеству Натальи Оскаровны Мунц – художника, достойного внимания и памяти потомства.

Е. В. Мунц





Составители А. Я. Олейников, Е. В. Мунц.
Лит. редактор М. Алхазова.
Худ. редактор Т. Кормер
Компьютерный набор Алексей Олейников
Корректоры Н. Власенко Н. Болотина
Дизайн, верстка В. Фомин

